

Иван Степанович Венецев (1896-1974) родился в посёлке Благословенском станицы Оренбургской (современное село Благословенка Оренбургского района Оренбургской области). Поступить в юнкерское училище, как мечталось, помешала Гражданская война. Вместе со старшим братом Василием вступил в войско атамана Дутова. После разгрома белой армии был осуждён на два года тюрьмы, затем, в 1941-м на полтора года, и в 1943-м – за антисоветскую агитацию – на 10 лет. В Карагандинском исправительно-трудовом лагере написал автобиографический роман с авторским названием «Михаил Веренцов». В 1960 году был реабилитирован. Скончался в пос. Долинка, месте своего поселения, так и не повидавшись с родиной. Журнальный вариант романа мы публикуем в литературной обработке Валерия Кузнецова.

Войны, которые не кончаются...

Беда Гражданской войны в том, что она не кончается никогда. Свежие примеры — новые вспышки загнанных под спуд Гражданских войн в США и в Испании. После всех уверений о «замирении» и «преодолении». «Примирившиеся» вдруг сносят памятники «южанам» и «франкистам», переименовывают улицы. Это спустя почти двести-то лет (в США)! А у нас — всего сто

(если считать с 1917-го), или во все — 25 (с 1991—93 гг.).

Не говоря уже о полыхающей под боком Украине... Где внезапно обнаружили внуки Бандеры и правнуки Петлюры, и с воплями радости подожгли «ридную хату». Нехай полыхае!

Роман «Урал — быстра река» — произведение странное в своей безыскусности. Оно даёт воочию увидеть и представить, как происходят события, обрушающие жизнь страны, семьи, человека...

Шаг за шагом, без громов и молний... Бросил сигарку, поцеловал чужую женщину, ушёл сотоварищи с фронта (бросил фронт) — и всё.

Это произведение интересно ещё и тем (но не в первую очередь), что рассказывает о трагедии именно оренбургского казачества, о неизвестных страницах Гражданской войны на Юго-Востоке России.

Станем ли мы умнее после прочтения? Простим ли? Не знаю. Но точно — станем другими.

Алексей ШОРОХОВ, поэт, секретарь правления Союза писателей России.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НАБАТЫ¹

ВВЕДЕНИЕ

Край мой казачий

1

Белёсым бархатом блестят выжженные солнцем степи оренбургского казачества — это выцветшим ковылём выстелены почти безлюдные равнины. Только вихри степные в полдневный зной нарушают тишину, с шумом и свистом бешеной свадьбой несутся они по полям, срывая сухую траву и колючку-катун, мешая в кучу, уносят спиралью до облаков. Точно вьётся страшная верёвка, а конец уходит в небо. Застигнутый врасплох жаворонок, скрученный потоками воздуха,

долго не может выпутаться из смерча. Обескураженный стрепет теряет равновесие, кувыркается в траву.

Бегут вихри, бесследно исчезают. После них — опять тишина, сухой зной и марево. Синяя дымка скрывает даль.

Но вот на горизонте появляются кучевые облака, они поминутно растут, превращаясь в гигантские фантастические фигуры, ширятся, сливаются в огромную чёрную тучу, впереди которой идёт буря — самая страшная из стихий в этих местах. Не устоять против бури ни конному, ни пешему. Всё живое стремглав спешит укрыться в убежища.

Буря срывает скирды сена и соломы, подбрасывает их кверху в бешеной игре, былками² расстиляет по земле; крыши с домов закидывает за село.

Вслед за бурей с неба падает море воды. От грозových раскатов с дребезгом вылетают оконные стёкла.

Ливень ужасный, разрушительный пронесится, оставляя за собой ярко-промытую радугу и отдалённые раскаты грома. Тучу с дождём и громом унёс ветер.

Выходит и нещадно палит солнце. Дождевая вода стекает в низины, через час-два прошла, высохла. Робко поднимается поваленная дождём трава. Расправляя крылья, сушатся на солнце вороны, грачи, галки — все, застигнутые дождём в открытом поле и промокшие насквозь в своём убежище. Сейчас они не могут

летать, их можно ловить руками. Пернатые хищники бьют их насмерть...

2

После таяния снегов невиданно преображается степь. Всеми цветами радуги торжествует живой зелёный ковёр на все стороны света. Мириады жёлтых, красных, фиолетовых тюльпанов вспыхивают на нём. Жаворонки над головой разливают свои радостно-мелодичные рулады.

Выпорхнув из травы, небольшая с розовой грудкой птичка сидит, раскачиваясь, над кустиком зелёной травы, обхватив тоненькими лапками веточку и не боясь человека, как бы выговаривает жалобно: «Чуть-чуть си-и-жу, чуть-чуть си-и-жу!». Ей на разные голоса вторят другие.

Человека степные пичуги подпускают почти вплотную. Посмотришь под куст: там маленькое круглое гнёздышко, искусно сплетённое из мягкой травы и выложенное внутри пухом, — а в нём пяток яиц. Пройдёшь дальше, а птичка опять сядет на своё место в гнездо. Через несколько шагов всё повторяется: взлёт другой птахи над кустом — и опять гнёздышко. Цвет яиц разный: у одних белый, у других, как небо, голубой, у третьих — серый.

...И окраска оперенья, и песни птиц — всё множит собой роскошное степное разнообразие.

А какую радость даёт этот мир: и цветы, и зелень без края, и чистые птичьи голоса, и этот

жёлто-коричневый или сизо-лиловый, распластавший трепещущие крылья, как бы зависший на одном месте и зорко высматривающий в густой траве добычу, кобчик!..

А воздух степной! Им не надыхнешься, он не уместится в лёгких, его хочется глотать, пить — этот сухой настой цветов и трав!.. Запахи степи особенно остры после дождя, когда горячими золотистыми лучами выходит из-за туч солнце.

А звери, а птицы степи! Кого там только нет! Раздолье для охотника... Точно стада баранов, бродят по степям долгоногие журавли, охотясь за змеями, ящерицами, насекомыми. Накапливают жир тяжёлые дудаки-дрофы, с трудом, лениво поднимаясь в воздух. Низко пригнув шею под сплошной кошмой гниющей старитравы, укрываются куропатки, стрепеты...

На Урале и приуральных луговых озёрах стадами плавают лебеди, гуси, утки, казарки. В небе парит орёл, выслеживая пернатую добычу, камнем бросается с огромной высоты, грудью разит жертву наверняка, насмерть. Беркут и чёрный ворон спешат полакомиться остатками орлиного пира.

Человеку незаметна жестокая борьба за жизнь этого мира. Сколько степных существ в страданиях погибает, когда борьба становится непосильной, сколько растерзывается и пожирается более сильными и хищными!

Остаётся беспомощное потомство, или дети умирают на глазах родителей, вызывая страдание.

Незаметна человеку эта жизнь, полная неведомых ему страстей, стремлений и противоречий. А степному миру незаметна жестокая, осмысленная и кровавая — борьба человеческая.

3

Голубой зигзагообразной лентой разрезая степные дали, тянется река Урал, указывая границу между Европой и Азией. Здесь когда-то угрожали Европе с востока кочевые народы. Вставшее на этом рубеже казачество вело жесточайшую борьбу, оберегая русские земли от степных набегов. Постоянным аванпостом казачество заслоняло границы от посягательств на мирную жизнь Руси. Как из гигантского мешка, рассеивались казачьи кости по степным просторам, где потом — грибами на токовищах в дождливую осень — родились станицы.

*На рубежах святой Руси
Всегда стояли казаки,
В руках их пики и клинки,
А смерть всегда за их
плечами...*

Жизнь в пограничной полосе подвергала казака постоянной опасности, заставляла быть всегда готовым к её отражению. Даже на полевые работы и пастбу скота мужчины выезжали вооружёнными. Владели оружием и

жёны казаков. Не однажды в отсутствие мужчин женщины защищали свои станицы от внезапных нападений.

Жизнь отбирала людей с сильным характером, выносливых, неустрашимых. Выработывала смелость, находчивость, умение приспосабливаться к обстановке. Среди казаков было равенство, в руководители избирались отличившиеся умом, талантом, храбростью. Привилегий по происхождению, знатности, богатству казаки не знали.

Кошмарным сном остались позади буйные времена, когда тёмными ночами, пригнувшись к луке седла, рыскали по степи чёрные всадники в малахаях с длинными чеблыками³ в руках. Мёртвой петлёй на чеблыках привязаны окрюки-арканы. На ночных тропах через непроходимые камышовые, тростниковые ли заросли по речкам Бердянке и Илеку таились казаки, ожидая недруга. По тропам, оставшимся без караула, тихо прокрадывались лихие люди, проникали в станицы, сеяли огонь и смерть, уводили пленников — мужчин и женщин от мала до велика или, застигнутые казаками, прощались с жизнью. Выли тогда, рвали длинные косы их черноглазые жёны, оплакивая своих джигитов, которым не удалось украсть русскую женщину или белого казака для богатого выкупа. Не увидеться с ними больше никогда, сложили они свои головушки в жарких схватках с казаками.

Их не увидят родные, их не увидят привольные степи, их не забудут всю жизнь, какой бы долгой она ни была.

Зачем уничтожались с обеих сторон прекрасные, полные здоровья и сил жизни? Земли не хватало? Полей, просторов? Нажива ли была целью, подстрекательство ли сильных мира? Не задавались этими вопросами ни кочевники, ни казаки, а выполняли волю пославших и гибли... Лилась, лилась кровь. Берега Урала, Бердянки, Илека усеяны костями казаков и кочевников.

4

Высокая гора Маячная на правом берегу Бердянки в двух верстах от её впадения в Урал — постоянное убежище для нападающих и укрывающихся от преследования кочевников. С севера она прикрыта зарослями и стремниной Урала, с запада — горой и речкой. Скрытны здесь и пути нападения, и отступления.

В набег на казачий Приуральный пост выехал сам султан с большим отрядом из семидесяти двух всадников — отборных, закалённых в схватках. Предводитель на прекрасном сером в яблоках арабике, приведённом год назад дядей султана из турецкого города Багдада⁴. Отряд джигитов посажен на одичалых коней — их подолгу держали в тёмных сараях, не выпуская на свет.

Набегом должно разгромить и уничтожить Приуральный, за

ним — Родниковский и Паникинский посты. На них, отстоящих друг от друга на семь вёрст, не более трёх десятков казаков, разделённых на три группы. В случае удачи отряд проникнет на двадцать вёрст вглубь русской территории — до речки Донгуз.

С Приурального хорошо заметна необычная пыль из-за Маячной горы, выдающая большой отряд конницы. Время от времени на гору выскакивают два-три всадника и, погарцевав, скрываются.

Приуральный объявляет тревогу, он уже на конях. Поскакал гонец на Родниковский и Паникинский посты.

Разведчики султана разыскивают брод через Бердянку и доносят: река глубока, бродов нет, берега болотистые, в тростниках и камыше. Если отряду броситься вплавь, он будет уничтожен, прежде чем достигнет берега.

Султан решает переправляться через Бердянку в десяти-двенадцати верстах выше и быстро ведёт отряд туда. Пыль взлетает из-под ног коней. Казаки по своей территории сопровождают отряд, приближаясь к Родниковскому, потом и Паниковскому постам и соединяясь с ними. Это обещает удачу.

На двенадцатой версте облако пыли остановилось. Из складок местности появляются и скрываются конные. Ветер доносит крики — готовится атака. Через минуты киргизы⁵ с душераздирающим гиканьем и криками

«алла» полным карьером перескакивают пригорок, направляясь смешавшейся толпой к Бердянке. Мгновенье — и она форсирована. Казаки стремительно отходят вглубь своей территории, к Центральной горе, что в восьми верстах к юго-западу, на пути к Донгузу. Они тщетно ожидают подкрепления от Красноярского, Перовского и Донгузского постов — те отозваны на помощь Илеку. Казаки отступают уже пять, шесть, восемь вёрст. Вот уже верх горы стремительно надвигается под ноги коней. Кочевники давно бы настигли казаков, но не решаются, надеясь, что казачьи кони утомятся и будут отставать по одному. До казаков доносятся крики, смех и ругательства.

По казачьему отряду в тридцать четыре человека вполголоса передаётся команда взводного Устьянцева: «Отступать как раз до вершины горы, а потом — с Богом на супостатов».

Гора уже позволяет видеть через голову Донгуза прекрасную равнину Илецкой Защиты⁶. Вот и вершина горы ушла под копыта коней. Басом крикнул Устьянцев: — С Богом на врага! — и крепко выругался.

Будто вихрь налетел на казачьих коней, осадил, поднял их на дыбы, круто повернул на задних ногах. Машинально, без команды выхватили казаки клинки из ножен, радугой, разящей молнией блеснули ими на солнце.

Дрогнули, смешались нападавшие. Кто-то повернул назад,

другие их задерживают. Грозная лавина сбилась в кучу, рождая панику. Казаки атаковали с обоих флангов, проникли в тыл.

Не было команды у кочевников. Все командовали или все поднимали панику, нагнетая страх.

Устьянцев давно приметил султана на яблочном арабчике. Отступая, оглядывался, ждал его в первые ряды, чтобы при контракте сразу напасть, но тот скакал далеко сзади, а теперь сдерживал отступающих.

Устьянцев взял повод коня далеко вправо, огибал противника, ломился в тыл, к султану. Он не думал о том, что может быть смят и растерзан отступающими. Он низко пригнулся, чуть не лежал на гриве коня. Клинок, неумолимо оружие взводного, опущен чуть не до земли. Теперь Устьянцев стремительно несётся на султана, ещё мгновение — и обрушится на молодого, неопытного соперника. Нападая с тыла, казак уже в двадцати-пятнадцати-десяти конских прыжков от султана. Заметавшегося предводителя защищают четверо. Один выступил вперёд, видимо, на глазах вождя готовый умереть за него — устремил своё длинное копьё в грудь Устьянцева. Взводный взметнул клинок — копьё отскочило выше его головы. Концом клинка казак ткнул противника ниже глаза.

Двое грозили копьями с обеих сторон. Удар одного прошёл мимо, второй глубоко вонзил копьё в бедро взводного. Устьянцев ударил пашкой по копыту, ломая

его, железный конец остался в теле. Вторым ударом, перерубая ключицу, рассёк плечо противника.

Последний противник султана отскочил, освобождая доступ к нему, растерявшемуся, не успевшему защититься. Клинок казака на вершок от конца завяз выше уха в голове султана. Мотнувшись назад в седле, султан натянул поводья коня, валясь к нему на круп. Арабчик встал на задние ноги, чуть не опрокидываясь на спину. Султан рухнул на траву и лежал бездыханно, как подкошенная трава.

В беспорядке, с криками «алла» отступали кочевники десять вёрст на Бердянку. Из всего отряда спаслись на быстрых конях только двадцать два джигита.

Копьё из тела Устьянцев вырвал тотчас после схватки с султаном. На пятой версте погони он, теряя кровь, в беспмятстве свалился с коня. Его нашли в траве, доставили на кордон. Арабчик убежал с отступившими.

Султана похоронили со всеми почестями как военачальника на месте его смерти в одном из оврагов Центральной горы. Этот овраг до сих пор называется «Султанский».

На крутом берегу речки Паники схоронили убитых казаков. На могиле поставили грубый дубовый крест с простой надписью: «Сидесь схоронены казаки Новоженин Митрий, Перов Гриша, Усянцев Пашурка, да Иванов Лексей, да Андронов Михайло,

да Извозчиков Ондрюша. Убиты в бою с киргизцами 20 июня 1831 года. Вечна им память. Бох им судья». Впоследствии на этом месте вырос богатый хутор Мокеев. А Григорий Устьянцев, потерявший в этом бою меньшего брата, стал основателем станицы Благословенной.

5

Станица Благословенная — бывший кордон Приуральный, входивший в состав Оренбургской станицы, — заняла левый берег Урала в восемнадцати верстах выше Оренбурга и в трёх верстах от речки Бердянки.

Несколько семей русских казаков — в их числе Веренцовы — переселились сюда в первой половине XIX века из большой уральской станицы Городище. Из станицы Островной Благословенную пополнили украинские казаки — потомки запорожцев. Когда Екатерина II упразднила Запорожскую Сечь, часть казаков ушла за пределы России — в Турцию, часть — на Кубань и многие — на Урал, где на одном из островов основали своё подобие Сечи — станицу Островную.

Переселившиеся отсюда казаки принесли с собой в Благословенную украинскую речь и свой быт: прежде всего, блистающие снаружи и внутри чистотой украинские хаты. Женщины ходили в национальной одежде, мужчины — в широченных штанах, заправленных в короткие мягкие сапожки, в белейших рубашках,

расшитых замысловатыми рисунками. Бород украинские переселенцы не носили, в обычае были длинные усы с подусниками и оселедцы⁷ на затылке.

Со временем перемешались станичники в родственных связях и фамилиях. Украинские перешли в русские: Щёголи стали Щёголевыми, Щербаки — Щербаковыми, Тырса — Тырсиньми. И лишь Бурлуцких не тронули изменения.

Наместник царя на восточной окраине России, в Оренбургском крае, генерал Перовский посетил однажды кордон Приуральный и сказал казакам: «Вы стоите на острие киргизского копья. Благословляю вас на подвиги. И кордон ваш отныне нарекаю называть: станица Благословенная. С Богом!»

Этого угла степи не забудет история сопротивления кочевым набегам. Здесь задержаны вольные орды, надвигавшиеся с востока вниз по левому берегу Урала...

Отдохнули кочевники от грани, осели на земле, стали разводять несметные стада скота, понемногу сеять просо.

Потянулись бессчётные верблюжки караваны с бубенцами и колокольчиками по караванным дорогам через киргизские степи из Бухарского, Кокандского, Текинского и других среднеазиатских ханств в Оренбург, в эту бездонную торговую пропасть. Прекратились набеги, вызывающие кровопролитные схватки,

теперь казаки стали крепко дружить с киргизами. Всё в них нравилось казакам: лихость конной езды, гостеприимство, мягкость и уступчивость, верность в дружбе. Привлекала даже способность «чисто» украсть и не попасться. Почти те же качества киргизы находили в казаках. Препятствия как не бывало, об этом старались не упоминать, а если за рюмкой и поминалось, то в шутку: мол, вы убивали нас, а мы убивали вас, что поделаешь, один Бог без греха, такое было дурацкое время. Что было, то прошло. Не будем об этом говорить. Пей, Вилизбай, я свою рюмку уже доделал.

Теперь словно и солнце стали замечать обитатели этих прекрасных казачьих и киргизских равнин, замечать и радоваться ему. Словно посветлело и повеселело оно со времён кровавых столкновений.

6

Вокруг казачьих станиц взломана целина, распаханы упругие, девственные ковыли, зреют там каждое лето обильные хлеба.

Июль... Дует лёгкий неизменный юго-западный ветер. Морской равниной волнуется золотая с тяжёлым крупным колосом пшеница, как морская зыбь, своей безбрежностью поглощает целые табуны скота при зазевавшемся пастухе. На краю жёлтого вздыхающего моря зеленеют поля, изрезанные ровными клетками, украшенные смеющимися

подсолнухами. Это бахчи, усеянные жёлтыми медовыми дынями, зеленовато-белыми тонкокожими арбузами.

Воскресенье. По полям вдоль и поперёк скачут верхом и в телегах, с жёнами и в одиночку жители станицы. Здесь именно скачут, спокойно не ездят, всегда куда-то спешат, как на пожар. Климат, история и судьба выработали по своему вкусу местный темперамент. Здесь всё делается быстро, вскачь, ватагой. Так празднуют, так дерутся, работают, так спешат в армию в мирное время, так возвращаются обратно.

В свадебные и праздничные кутежи на улицах рискованно появляться, особенно в Масленицу. Всё несётся в бешеной скачке, не разбирая дороги и углов, всё кричит, вываливается из саней, сваливается с коней, снова вскакивает и снова несётся, обгоняя друг друга. Там скачет верблюд, впряжённый в паре с коровой, они тащат плетень или воротное полотно с сидящим на нём народом. В кругу водка и закуска, все пьяные и пьют ещё. Пьяный кучер верхом на верблюде или корове завозит эту честную компанию в снежный сугроб, все переворачиваются, сваливаются вместе со своим столом в общую кучу. Трещат рёбра, ломаются руки, женщины сверкают недопустимыми местами. Дикий, гомерический смех, шутки... Опять сели на свою «повозку» и затянули песни или частушки под гармошку с присвистом. Снова соскакивают,

начинают бешеные пляски вприрядку — крик, шум, хохот! Там группа в двадцать-тридцать всадников поскакала за станицу, на скачки.

К Масленице в каждой станице складывается огромная снежная пирамида пяти-семи саженей⁸ в диаметре и такой же высоты — «городок». Для прочности и скольжения он обливается водой. В назначенный день собираются казаки-взрослые и подростки, все на конях. Вначале городок берут старшие. Выстраиваются в версте в конном строю и по команде бросаются к нему бешеной ватагой. На пути — барьеры из хвороста и брёвен, снежный вал, горящая свёрнутая жгутом солома. Перед самым городком атакующих обстреливает холостыми залпами пехота, забрасывает их снегом. Подскакав, атакующие со всех сторон спрыгивают с коней прямо на лёд городка. Чтобы удержаться на нём, у каждого в обеих руках железные тычки, похожие на укороченный штык. Они поочередно втыкаются в снег и позволяют сильному взобраться на верх пирамиды. Соревнующиеся спешат, давка невероятная, падает с высоты не удержавшийся, спшибает других ниже себя... Первый, одолевший подъём, кричит свою фамилию, за ним второй, третий, четвёртый — до четырёх разрядов даются призы. Первый — золотые часы или седло с набором, другие — подешевле.

После городка — джигитовка, рубка пашкой лозы, уколы

пикой чучела. За это — новые и новые призы. Так целый день до ночи. Из станицы разъезжают по хуторам и посёлкам поздно, часто в пургу. Взятых приз дома встречают восторженно и будут помнить об этом всю жизнь. Тут начинают «обмывать» призы. «Моют» и порой не замечают, что Масленица прошла, и идёт Великий пост.

В Оренбурге праздником руководили специально назначенные атаманом отдела казаки. С утра гудит Форштадтская площадь, по обеим её сторонам курится парок от дыхания собравшихся. В центре, неподалёку от конной статуи казака, сложен городок.

Казаки в коротких бекешах⁹, отороченных каракулем по полям, приполкам и стоячим воротникам. Тёмно-синие узкие брюки с широкими голубыми лампасами заправлены в сапоги с твёрдыми лакированными голенищами, некоторые подпоясаны голубыми кушаками. На головах папахи из чёрного и серого каракуля с верхом из тонкого голубого сукна, верх крест-накрест перехлёстнут позолочённой тесьмой. Из-под папах выпущены роскошные чубы. Казаки постарше — в полушубках и валенках-катанках. Ходят, переговариваются, шутят, ждут сигнала — ружейного выстрела холостым патроном — к атаке на городок. Все они будут болеть за своих станичников, подбадривать соревнующихся криками, репликами.

Красивая, дородная стоит как зачка в толпе. На плечи поверх одежды накинута полушубок. Она пристально наблюдает за атакующими городок, не замечает остроот в её адрес. Один из шутников, подкручивая усы, спрашивает:

— Ты чо, здобнушка, озябла штоль — полушубок-то одела? Мож, погреть?

Другой предупреждает:

— Мотри, Гриша, она те погрет! Хлеснёт наотмашь по роже — всю жисть будешь со спины смотреть, гляди, кака она лепёха!

Её муж, Щёголев Николай, тоже будет брать городок, брать приз. Ей не до остроот и шуток. Наконец долгожданно-неожиданно — выстрел! Сердце казачки замерло, щёки пылают жаром, внутри что-то оборвалось, она что-то шепчет: молится за мужа или ругается по адресу шутников — не разберёшь. Кругом бушует море: посвист, шум, гам, выкрики: «Не подгадь! Вася, Гриша, Миша...» и другие знакомые имена.

Конь Чалый под Николаем стелется до земли. Легко берёт препятствия, мчит своего хозяина к снежной пирамиде. Щёголев без папахи, тёмно-русый чуб откинут ветром в сторону, сам только в рубашке, снял верхнюю одежду — для лёгкости, потому жена и стоит в полушубке. Ольга, вся внимание, истово выкрикивает:

— Коля, только приз! Не возмёшь, дома ничо не получишь!

Стремительно близится ледяная глыба — осталось несколько

бросков коню. Николай высвободил ноги из стремян, одной встал на седло, другой — на конский круп, напряженно пригнулся и — как слизнула пирамида казака. Распластался на ледяном конусе, а тычки¹⁰ в его руках заработали, подвигая извивающееся змеёй тело наверх, к заветной цели.

Из первого десятка Николай первый вскакивает на пирамиду, твёрдо и звонко выкрикивает: «Щёголев из Благословенной!» — и соскальзывает вниз. К нему уже ведут его Чалого. Он целует умного коня, гладит и треплет его шею, а тот своими бархатными губами треплет хозяина за плечо, словно поздравляет — просит угощения. Шерсть у Чалого закуржавилась завитками.

Ольга подбегает к мужу, сбрасывает полушубок на его плечи, отдаёт папаху чёрного каракуля... А сама! Так все, близко стоящие, и крикнули. Смоляные косы выбились из-под пуховой шали, лицо — румянец в обе щеки. Большие карие глаза так и сверкают — рада за мужа. А фигура! Идёт рядом с мужем, всё у неё так и кольшется. Смотрят казаки масляными глазами и только усы подкручивают. Слышно весёлое:

— Эх, язви её, как разнесло-то её, сразу!

— Захошь поцеловать, дык не дотянешься через груди-то!

— Ды где там...

От «козых ножек» в морозном воздухе потянуло дымком махорки. Ольга улыбается. Зубы

белее снега и ровные, как ножом подрезаны.

— М-да-а, — раздаётся в толпе. — Дык за такую бабу я бы на купол собора вскочил без тычек!

— Будет тебе! Окстись, охальник, — сильно нажимая на «о», говорит жена казака-завистника, дёргая его за полу. — Сбегай к Уралу, мырни в майну — остынешь маненько.

— Отстань, смола, — огрызается завистник. Жена его не хуже Ольги, только постарше чуть-чуть.

— Чо, Максимыч, съел? — подливает масла стоящий рядом казак.

— Мало попало, ишшо бы надо, — добавляет другой.

— Да ладно, — говорит Максимыч, — дай, Петрович, твою табачку, у тебя слашше, — а сам уже скручивает сигарку, лишь бы уйти от щекотливого разговора.

Второй выстрел! Сорвалась со старта следующая десятка... И так до конца дня.

Не у всех получалось гладко в эти дни. Вот конь одного казака зацепился задней ногой за брус препятствия и рухнул на снег вместе со всадником. Казака выбросило из седла, он проехал на груди, быстро вскочил — и к коню, впрыгнул в седло, помчался догонять ускакавших.

Другой прошёл все препятствия, остался горящий жгут. Конь испугался огня, встал на дыбы, закусил удила и поскакал вдоль жгута в сторону Форштадта. Вдогонку неудачнику реплики:

— Ах, язви ево, забыл блины доесть у тѣшши, поскакал доедать.

— Не-е, — говорит другой, — вспомнил, вчера бутылку с тестем не допили. Боитца, как бы тесть один не допил. Вот и поскакал. Вот жадный до чего, зараза!

Прискакали казаки в станицу с призами. Гудит станица. То там, то здесь слышна игра гармошек, поют разудалые оренбургские частушки-матани с присвистом, приплясом, гиканьем. Вот идут парни и молодые женатые казаки в два-три ряда, позади мельтешат казачата лет по двенадцати, подпевают, как осенние молодые петушата перед старыми петухами:

*Эх, и меня солнышком
не греет,*

*Эх, дорогая, эх, ты моя.
Ах, над головушкой туман,
да!*

А я за всё люблю тебя, да!

И — словно роняет гармонист ладный, всё вместивший в себя перебор. Не поют под него — присвистывают, приплясывают. Один-два парня выбегают вперёд, вертятся волчками вприсядку, в такт, захлёб изумлённо-радостно вскрикивают:

*Эх и ох, и ах, и ох, и эх,
и ох, и ах!*

А другие уже продолжают частушку:

*Эх, меня девушки не любят,
Ах, дорогая, эх, ты моя.*

*Эх, приклонюсь я, бабы,
к вам, да!*

Я за всё люблю тебя, да!

И снова перебор с присвистом и приплясом, и другие частушки.

Останавливаются парни у того двора, где сидят девушки, начинаются танцы до глубокой ночи.

Как водой в половодье, заливаются весельем улицы станицы. Кипит она в этом веселье молодости, будоражит кровь молодым, трогает сердце, будит воспоминания у пожилых, не один раз заставляет повернуться на постели, выдохнуть-вскрикнуть: «Эх!» — перед тем, как уснуть.

Поздно вечером на улице крики: драка на кулачках, стенка на стенку полезли, конец на конец станицы.

Гришка Храмов лежал уже в постели. Услышал, сердце не выдержало: соскочил, быстро накинул полушубок, надел валенки, папаху набекрень. Помчался на улицу. Только успела жена крикнуть вдогонку:

— Куда тебя холера понесла?

— Надо, наших бьют! — огрызнулся тот.

На улице шёл «бой». Ребята того конца станицы ломили ребят этого конца. Дошли уже до Ефремова угла. Гришка ввязался в драку. Из ближних дворов выбегали казаки, на ходу застёгивая полушубки, поправляли папахи:

— Не робей, робята! Держись! Мы им чичас юшку¹¹ пустиим!

Не успел Гришка смазать кого-то два-три раза и вцепиться в длинный чуб Ваське Коханову, как наскочил носом на его увесистый кулак. Искры посыпались

из глаз, из носа хлестала кровь. Батюшки! — придётся выходить из «боя». Закрылся варезкой, побежал домой.

— Ой, мамоньки! — кричит, сев на постели, жена. — Ды хто же это тебя так умыл-то?

— Хто, хто... Васька Коханов, язви ево, — докладывает о подвиге храбрец.

— Вот, говорила тебе: не ходи, дык ты не послушал! Чо, наелса?

— Ды ладно тебе шипеть-то! — огрызается Гришка.

— Ды ты-то сдачи дал аль нет? — не унимается та.

— А как же! Ухватил за чуб и выдрал половину, — хвалится Гришка.

— Ну тода ишша ладно, кыль так, — успокаивается Мария и ложится досыпать.

Разделся и Гришка, умылся, посмотрел в осколок зеркала, вмазанный в печную трубу. Батюшки! Вместо носа какая-то чертовщина, похожая скорее на чекушку от задней оси телеги. Махнул рукой, нырнул под одеяло, лёг у пышного и горячего бока Марьи. Успокоился.

Последний день Масленицы. Прощёное Воскресенье. Все обиды прощаются в этот день. Ходят друг к другу прощаться.

Сашка Крыльцов зашёл к своему соседу Петру Храмову. Тот сидит на скамейке, хмурый. Под глазом «фонарь» чернее дождевой тучи.

— Эк ты, ядрена маш! Ды хто это тебе приклеил тако яблоко? — спрашивает Сашка.

— А ты чо, не помнишь рази? — отвечает Пётр вопросом на вопрос и поясняет: — Кода лезли стенка на стенку, дык ты меня и угостил на здоровье.

— А ты тоже хорош! Привесил мне свой кулак-свинчатку на грудь, чуть не задохнулся, — жалуетса Сашка.

— Ну ладно, чо уж топерь? Айда, давай прошшатца, — говорит хозяин дома.

Встали друг против друга, поклонились в пояс:

— Прости меня, Сашка.

— Бог простит, — отвечает тот. — И ты прости меня, Петя.

— Бог простит, — отвечает этот.

Из горницы появляется жена Петра, боком пролезла в дверь:

— А, кочеты! Прощаетесь? — спрашивает Клавдия. И только хотела продолжить, муж перебивает:

— Ладно-ладно. Неси, чо у тебя там вкусно и горько.

Клавдия выносит бутылку самогона-первача и на закуску сдобные кокурки, крендели, орешки из теста.

Пётр наливает два тонких стакана — под склень¹².

Сашка сомневается в крепости напитка, плеснул в ложку и спичку подсунул. Вспыхнуло в ложке синим пламенем.

— Да, хорош, пожалуй, — отмечает гость.

Выпили залпом, вылили, как воду в горшок. Гость закусил орешком, кокурку положил в карман:

— Спасибо. Ну, я пойду. Мне ишло к Ваньке Азарину надо зайти, как он там?

— А ты прикладывай медный пятак к глазу-то, помогает, — прописывает верный, испытанный на себе рецепт Сашка.

Прощёный день прошёл. Гармошки прячут в сундуки, чтобы глаза не мозолили. Завтра Великий пост. Играть нельзя, грех. Пусть отдыхают гармошки до Светлого Воскресения — Пасхи.

7

Между казаками нередко иногородние, не казаки. Их здесь называют разночинцами или просто мужиками. Они приехали из разных губерний Центральной России от малоземелья. Иногородние здесь дешёво покупают землю, занимаются сельским хозяйством. А ещё дешевле земля у киргизов, не делёная, общественная. Продаёт её любой член аульного общества кому угодно и сколько успеет продать. Нередко купленная земля оказывается проданной другим продавцам. А пользуется ею тот, кто первый вспахал. Не успевший вспахать наделяется землёй в другом месте или получает деньги назад. Скандалов не бывает никогда. Да и вообще киргизы с русскими, особенно с казаками, никогда не скандалят, в любом случае предпочитают согласие.

На вольных и дешёвых земельный угодьях оборотистые иногородние быстро богатеют, становятся почётными членами

общества. Их уже называют по имени и отчеству, в противном случае быть ему до смерти «Артёмкой-мужиком». Казаки даже отдают дочерей в богатые иногородние семьи, правда, с большой потугой, лишь в случае какого-либо порока у невесты или при крайней её бедности.

Сколько бы лет, даже поколений ни проживал иногородний в казачьей среде, в казаки всё же он принят быть не мог, кроме как с высочайшего повеления, по исключительным причинам или заслугам, или при переселении — в приписное казачество.

Селиться же или купить рядом дом иногороднему могло разрешить казачье общество на своём общем сходе. Никакого общепринятого голосования здесь не бывает, просто закричат несколько человек, играющих ведущую роль: «Жалам принять» или «не жалам» — и всё будет кончено — остальные их поддержат, ведь они их друзья, родственники или собутыльники. Они только заявят, что за положительное постановление нужно оставить сходу столько-то ведер водки. Она тут же доставляется, водружается на стол и тут же без зазрения совести распивается всеми, ковшом, причём начинает атаман. А писарь уж настроил постановление, если он ещё трезвый, не успел напиться до начала схода. Для успеха выгодной сделки с обществом нужно подпоить самых горластых казаков-заводил да купить побольше водки



сходу, и сделка будет узаконена. Её не отменит даже сам наказной — войсковой — атаман, имеющий власть в войске едва ли меньше самого императора.

Ни вольная земля, ни привилегии не давали богатства казакам. Уходя на службу в мирное или военное время, казак обязан был приобрести коня с седлом, пашку, пику и всё обмундирование. Это стоило более двухсот рублей, как четыре крестьянских коня или шесть коров. Если казак собирал в полк двух-трёх сыновей, он разорялся. Сбор в армию и отбывание воинской повинности до сорокапятилетнего возраста: караул у денежного ящика, у арестной камеры, конвоирование арестованных — через четыре недели в пятую — отменила только революция...

Высокие боевые качества казачьих воинских частей зависели от специального воспитания, с детства приучавшего к упражнениям, строю, службе, и от офицеров-казаков. Казаками командовали казаки. И командир, и подчинённый вместе вырастали в одной станице, как росли их отцы и деды. Лучших, самых расторопных молодых посылали в военные училища, и они становились командирами по профессии, другие оканчивали местную станичную школу и, отслуживши действительную службу, возвращались в родную станицу заниматься земледелием. Офицер знал каждого своего казака: на что годен, как будет вести себя в

бою, что можно от него ожидать. Командиру верили, он был свой брат — не пошлёт на выполнение непосильной задачи, на убой. В бою казак не мог струсить, вокруг были все свои — и поддержат, и выручат: «Сам погибай, но товарища выручай», и если к нему всё же прилипла кличка «трус», тогда в станицу хоть не возвращайся. До конца жизни будет эта кличка на нём и перейдёт на его потомство. Будут показывать пальцем: «Вот идёт сын Васьки-труса или отец труса». Поэтому в бою казаки не щадили себя: «Иль грудь в крестах, или голова в кустах», стремились показать лихость, удаль. Так создавалось гармоничное единство воинской части, делавшее её непобедимой.

8

Казак везде казак. Немало и сумасшедших выходов, сумасбродства и безрассудства видели уральские берега.

Урал в полном разливе, бушует в нём жёлтая, как глина, вода. До пяти вёрст разлился он, затопив сквозные леса, луга со старицами и озёрами. Глубина его в это время до пяти-восьми сажен, быстрина неуследимая. Страшна высота крутого берега, особенно под Благословенной. Смотришь в ледоход с этого отвесного яра на бурлящий Урал — кружится голова. В это время лучше не подходить близко к яру.

Красноярской станицы казак Касаткин заехал в Благословенную по пути — он сеял на её земле.

Встретили дорогого гостя сватья, приятели и собутыльники. Не обошлось без выпивки. Вся шайка гуляк направилась к кабаку. Долго толпа пировала около кабака, где у коновязи стоял привязанный конь Касаткина, впряжённый в тарантас. За оглоблю тарантаса привязан был второй, не запряжённый.

О чём бы ни говорили казаки, они всегда сводили к разговору о конях: об их цене, лихости, красоте, выносливости и других достоинствах. Касаткин сказал, что его конь — вот этот самый, который впряжён в тарантас — не боится ничего, и в огонь, и в воду полезет. Благословенцы его поддразнили, говоря: если, мол, это правда, то нужно доказать на деле, ну вот хотя бы, спрыгнуть с этого яра в Урал, в воду. Другие пьяные приятели, моргая друг другу, сказали, что, мол, если бы этого потребовали от благословенца, то любой бы из них сделал это сейчас же, а красноярцы этого не сделают, потому что они все трусы.

Пьяного Касаткина будто пчела ужалила в самое сердце, уж больно задето было его казацкое самолюбие. Он скрипнул зубами: «А, так вашу мать!» — и, вскочив с места, как сумасшедший, впрыгнул в тарантас и погнал в карьер по улице, к Уралу.

Кричавшие и бежавшие за ним собутыльники остались далеко позади, Касаткин их не слышал. Огромной высоты круча, бурлящий под ней, внизу,

мутный Урал неумолимо летят навстречу. Чуб бьёт по лицу пьяного, как будто хочет удержать хозяина, спасти животных. Касаткин ещё раз скрипнул зубами и уже перед самым яром ещё раз хлестнул кнутом... Конь, привязанный за оглоблю, около яра встал, натянул и оборвал повод. Впряжённый же в тарантас конь не сдержал тяжёлой упряжи и по инерции вместе с тарантасом и своим хозяином грянул в пучину.

Утяжелённый железом тарантас тут же потянул коня ко дну, и их больше никто не видел. Касаткин же всплыл и был спасён. После того как он очнулся, первый его вопрос к окружившим был: не спасли ли, кроме него, бутылку водки, спрятанную под кошмой в тарантасе...

Но всякому веселью приходится знать и печали...

9

Знойный июль 1914 года. Начали жать хлеба. Чистили землю, поливали водой, застилали соломой и ездили по ней на телегах — готовили тока для обмола та колосовых.

День жаркий, тихий. Тяжело сваливать с жнейки¹³ налитой сжатый хлеб. Бесперывно хочется пить. После жнитва ещё более тяжёлая молотба, потом пашня на зябь, и — кончаются все полевые работы, все едут с полей до весны. Этого с нетерпением ждёт каждый, строя радужные планы. Но судьба по своему усмотрению коверкает их и диктует свои,

которые никто не в состоянии изменить.

Полдень. По оренбургской дороге летит клубок пыли. Не видно того, кто поднял с дороги эту пыль. Неужели пьяный в страдную пору? Ветер хлестнул поперёк дороги — ясно стал виден всадник, скакавший во весь карьер из города к станице. Над головой его темноватый лоскут — флаг. Когда всадник приблизился, проявился и цвет флага — ветер полоскал его на солнце, и он переливался оттенками от темновато-вишнёвого до ярко-красного.

Дрогнуло у всех сердце. Красный флаг не обещал ничего, кроме слёз, смерти, сиротства. Он означал тревогу и ужас, разлуку и томительное ожидание близкого. А близкий — сын, брат или муж — находит покой навеки в чужих полях и лесах. Никто не увидит его больше никогда. Вот о чём возвещал красный флаг. Где бы ни находились в это время казаки, они бросали всё и скакали к станицам и посёлкам.

Заскакавший в станицу всадник уже передал бумагу атаману, и тот сейчас же направил по всем дорогам верховых — с тревогой, с такими же красными флагами.

Прибывшие увидели у станичного правления казака чужой станицы, он водил по двору за повод взмыленного, загоревшего коня. Казак оказался из Форштадта — казачьей части Оренбурга, такие форштадты есть почти во всех городах на

территории казачьих войск. Все наперебой спрашивали приезжего о причинах тревоги. А он в сотый раз отвечал:

— Война, ребята, война. Нам объявили войну Германия и Австрия, язвы их, а за нас — Англия и Франция.

Все собрались к станичному правлению. Женский и детский плач сливался с песней, которую тянули успевшие уже подвыпить казаки. Некоторые из них ещё и дома не были, а с поля поскакали прямо к кабаку, а потом в правление — видно, чуяло сердце, что завтра продажу водки запретят.

На крыльцо правления вышел атаман с насекой — символом власти — в руке, стал читать манифест: «Божию милостию, Мы, Николай Второй — царь Польский, Великий князь Лифляндский и прочая, и прочая, и прочая, объявляем всем верным нашим подданным... что на нашу Святую Русь напали две державы...» Все слушали с поникшими головами, без фуражек...

Наутро старики, женщины и дети поехали провожать своих близких. Как всегда, в мирное ли, в военное время при отправке казаков в поезд садится не более трети личного состава — остальные пьют где-то в кабаках и ресторанах, разъехавшись по всему городу.

Эшелон уже погружен: кони, обмундирование, оружие, сундуки и сундучки с личными вещами и вообще вся материальная часть — вот уже дано отправление.

Бегают низший командный состав, спрашивает служивых, которых удалось найти в ближайших трактирах, садиться в вагоны... Набрали немногим больше половины состава, потом отставшие догонят эшелон на пассажирских и скорых поездах. Это вошло в систему и как бы «узаконилось». Начальство на это махнуло рукой...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Империалистическая война полыхала уже два года. Мужское население станиц заметно поредело: на улицах и в поле только женщины, старики и подростки. Сократились и посевы, кроме хозяйств, не тронутых военными требованиями. Годы войны радовали разве только урожаями.

Сегодня осмотр посевов. Пусть сенокос не закончен, но жать колосовые пора настала. Осмотрел все свои посевы и решил немедленно приступить к жнитву Степан Андреевич Веренцов, казак лет шестидесяти, ещё прямой, с курчавыми седыми волосами и окладистой, с сединой бородой. Он возвращался домой на тарантасе с женой Еленой Степановной, на вид ещё молодой, со следами недавней красоты в тонких чертах.

Настроение у Веренцовых приподнятое, урожай на всех их загонах хороший. Жена задаёт

нескончаемые вопросы о жнитве, о сенокосе, на котором осталось много не закирдованного сена, и о хозяйстве вообще. Степан Андреевич не успевает отвечать, иногда просто ленится и отмалчивается.

— А сколько у нас нынче всего посеяно, отец? А?

— Да я тебе уже тыщу раз говорил: кубанки русской и безостки восемнадцать десятин, да шесть овса, да три проса, да там картошки, да бахчишки... Ах, да смотри, мать, нас Гнедой не по той дороге повёз. Нам ведь надо на бахчи заехать, дынёшек нарвать, а он нас домой потащил, — Степан Андреевич потянул за одну вожжу, чтобы свернуть с дороги.

— Ну что ты, отец, не смотришь? Ведь если не заедем на бахчи, то увезём назад домой харчишки для караульщика, — укоризненно заметила Елена Степановна.

Степан Андреевич виновато улыбался, насвистывая какой-то мотив.

Долго ехали без дороги по пожелтевшим ковылам и бороздам на залежах. Борозды указывали: здесь когда-то были посевы. Изпод ног коня выскочил заяц, он сидел в своём убежище до последнего, когда Гнедому оставался до него шаг. Заяц теперь бежал, спотыкаясь, чуть не до смерти перепуганный. И Веренцовы были недовольны: кинувшийся от зайца Гнедой чуть не вытряхнул их из тарантаса...

Внезапно вылетали совы, сажидились невдалеке на кучу земли или старого сена, с удивлением смотрели круглыми жёлтыми глазами, с угрозой разевая рот и вертя огромной головой.

Степан Андреевич шёпотом ругал Гнедого за тряское бездорожье. Наконец, уже невдалеке от бахчей, выехали на дорогу, которая тут же стала расходиться по разным межникам среди бахчевых клеток.

Около Веренцова загона их встретил седой караульщик старик Прокофий. В молодости он пришёл из Тамбовской губернии, спасаясь от малоземелья. Кроме жены да четырёх детей, ничего не привёз. Сначала Прокофий нанимался в работники, а в летние сезоны отдавал в батраки и двух своих сынишек. Теперь живёт самостоятельно, имеет дом, принят обществом на постоянное жительство. В этом году он сеял бахчи с сельчанами и решил окарауливать их сам, как и бахчи ближних хозяев.

— Чевой-то долго ты, Степан Андреич, не едешь на свою бахчу. Я уж заждался. Дынь очень много наспело, иные переспели, развалились, — сказал вылезший из балагана и вытирающий усы и бороду Прокофий. Он вежливо поклонился Елене Степановне и подал руку Степану Андреевичу.

— Ну, до дынь тут. С покосом никак не развяжемся: копён восемьсот бросили не скирдованных. Жать хлеб скорей надо, — оправдывался Веренцов.

Как молодые, Веренцовы спрыгнули с тарангаса, привязав к колесу вожжи, не надеясь на Гнедого, — тот с тоской посматривал на дорогу к дому и косо водил глазами в сторону хозяев.

Все трое взяли мешки, пошли по бахчам собирать дыни.

— Ну, чего там про войну-то слышно, Степан Андреич? Скоро у них там мир-то будет ай нет? — спросил Прокофий.

— А пёс их знает, у них не поймёшь, — ответил тот, — то так напишут, то этак. Сейчас, говорят, какие-то еропланы стали летать да подглядывать, а то бомбу кой-когда сбросят. Вот так сукины сыны, до чего додумались. Тут уж надо бы поскорее ударить на немцев и разбить, а то ещё до чего-нибудь додумаются. А у нас на фронте-то, говорят, войсков меньше, чем в тылу. Ну какая это война — один воюет, а пятеро под забором спят. Мой Пётр пишет из Финляндии, что их до сих пор не отправляют на фронт, как бы они ни просились. Ну что они их там — солить, што ли, хотят, всю войну их там держат?

Восьмой Оренбургский казачий полк, где служил Пётр — средний сын Веренцовых, вместе с Донскими, Кубанскими и другими казачьими полками стоял в Финляндии с начала войны четырнадцатого года.

— Ну и шут с ними, пусть не отправляют, целея сыновья будут, — заметил Прокофий.

— «Целея», «целея», — горячился Веренцов, — тогда и воевать

не надо, а сказать немцам: «Лезьте на спину, ладно уж, будем возить». Вильгельм-то ведь сам полез, кто его звал? — Прокофий молчал. — Вот Дмитрий мой, тоже вернулся с фронта, — продолжал Веренцов, — казаков обучает в Бердской станице. Поехал я туда к нему недавно, да только расстроился. Там такое войско, што всех палкой можно перебить: у одного бельмо на глазу, у другого одна нога короче другой, у третьева обе ноги короче, чем следоват. Крестник Егор пишет с фронта, што из присланного пополнения некоторые и ружья-то держать не умеют, а некоторые бегут с фронта домой.

— Андрей мой пишет, — шёпотом говорит Прокофий, — што скоро, пожалуй, война кончится... Да уж скорей бы кончалась, ну её к лешему, кому она нужна?..

Веренцов не ответил. Он не разделял такого взгляда. Он голубил в сердце надежду на полную победу над противником, сыновей своих ждал с войны офицерами или с полными бантами Георгиевских крестов... на худой конец.

Разошлись врозь. Долго собирали дыни и арбузы, носили к балагану, укладывали в тарантас.

— Ну, будет, отец, ну их, с дынями. Вот-вот затрезвонят от обедни, нас будут ждать обедать, — положила конец этому Елена Степановна, подошедшая к мужу.

— Правда. А то вон уж и Гнедой все глаза проглядел, ждёт не дождётся, — согласился тот.

Веренцовы тронулись к станице. Сзади слышались слова благодарности Прокофия за оставленную сметану, молоко, ватрушки, табак. Ещё раз оглянувшись, Степан Андреевич закричал: «Ешь больше дынь, Прокофий, теперь ездить за ними некогда будет!»

— Ну вот и слава Богу: посевы посмотрели, дыни везём, — умиrotворённо заговорила Елена Степановна. — А как я рада, что на наших загонах все хлеба хорошие. Ну, как наш загон, так хлеб стоит, как умытый, лучше всех. А всё Бог дал, всё Бог...

— Вот то-то и оно-то, — отозвался Веренцов, — а ты всё, дурья голова, весной тарахтела: «Будет, отец, сеить, хватит сеить» — передразнивал жену Веренцов. — Вот теперь как намолотим тышчи четыре одной пшеницы, ды овса, ды проса, вот тогда и жени Мишку зимой. А хлеба у нас, говоришь, хорошие, то я так и знал, что будут хорошие. Это не то, што Бог дал, а надо обработать хорошо, да хорошими семенами засеить, тогда и Бог, хоть не хочет, а даст. А то, черти, не спашут как следоват, не заборонют, да и засеют мусором, потом сидят и ждут урожая, а урожай-то идёт мимо ихнева загона и не видит, што здесь чего-то посеяно. Вот так-то. Мишка у нас — тоже молодец работать, сделает всегда по-хозяйски и без лени. Што молодец, то молодец, нечего зря говорить, — закончил

размышлениями вслух о младшем сыне Степан Андреевич.

Приехавшая на отдых в станицу молодая барыня, встретив Мишку с друзьями в роще, поделилась восторгом с подругой:

— Да-а... Экземпляр... Не пожалела природа ни материала, ни внимания, — и загадочно-томно улыбнулась Мишке. О его-то женитьбе и сказал Степан Андреевич жене.

Елена Степановна ухватилась за эти слова. Она давно уговаривала мужа женить сына. Доводы приводила разные: «Ну и што же, если набор в армию? Пусть берут, сноха останется в дому, опять работать есть кому будет. А разве лучше, если его где-нибудь ножом пырнут ночью на улице? Вот они нынче все с ножами стали ходить».

Степан Андреевич упирался, не соглашался: вот, мол, вдруг с Дмитрием или с Петром што-либо на фронте случится, так у тех сколько детей останется? Тех надо воспитывать, а тут ещё и Мишку женим, и от него будут дети. Пусть ходит холостой.

— Што ты, што ты, отец, Бог милостив, не допустит, ничего не случится, — волновалась Елена Степановна.

— Милостив, милостив. Я ничего не говорю, я так, к слову, от слова ничего не случится, а война своё берёт, — такими доводами отвечал Веренцов. А теперь он сдался. Помолчав, буркнул невнятно:

— Да, пожалуй, жени, шут с тобой, — и махнул рукой.

— Да, да, да, ну конечно, надо женить, знамо, женить, — подхватила весело жена. — Но вот кого сватать-то, отец, мы за него будем? Все девки мне как-то не нравюцца, какие-то все вихровки.

— Ну, если здесь не нравюцца, то в Нежинку езжай, может, там полутши, — советовал муж.

— Ну, везде они нончи одинаковы, — растягивая слова, говорила Веренцова. — А на сторону сватать я не поеду. Как праздник, так сноха будет ташшить Мишу туда в гости. Да погостить, скажет, пусть на недельку-другую к своим, а я опять одна по хозяйству. А нынче зимой только одних дойных коров будет пять штук, ды теляты, ды ягняты.

— Да его и женить-то сейчас не надо бы, да ведь он избегался весь, как кобель, — заворчал Степан Андреевич. — Он уже года два не ужинает; уж Митька хорош был пёс, а этот чишше того в десять раз. Кода приходит с улицы, кода спит, чёрт ево знает, зараза. Зимой скотину как следоват не уберёт, убежит через плетень или через сарай. Встанешь на двор перед утром, смотришь: лезет через плетень, как сатана.

Елена Степановна присмирела, она знала, что в этих случаях муж всегда сваливал вину «за плохое воспитание сына» на неё.

В большие праздники, когда в станице шли гулянья, Елена Степановна не спала ночей. Мишке она тогда говорила: «Миша,

сыночек, я только боюсь, чтобы они в драке не оттискали тебе бока», Мишка уверял мать, что никогда этого не случится. В драках он почти не участвовал, да и пьяным напивался очень редко, берёт силы для других похождений.

Степан Андреевич продолжал:

— Вот у кума Ивана парень, у Ивана Степановича парень, у Митрия парень, — как красные девки ходят. А этот холера, как бугай общественный, ну как бугай. Ты скажи ему, чтобы он не водил к нам Семёнова Гришку и не дружил с ним, Гришка по бабам ходит. Отец его, Семён Петрович, в воскресенье пришёл на сходку в правление, а там Михайлин сват прямо при всех и ляпнул ему: «Семён Петрович! Ради Бога, привяжи ты свово Гришку, от нево сношонку никак не спрячешь. Бежит и бежит со двора. Пошлёт её старуха вечером коров доить, а она наденет ведро на кол вверх дном и — ходу. В ворота не удасца, так через плетень убежит, вот и смотри ей взад-то. Побить её боюсь. Пожаловатца Гришке, он, идол, ишшо бока отомнёт». А ты знаешь, мать, как ему, Семёну Петровичу, стыдно было. Вот и наш Мишка шататца до света. А всё ты, всё ты, холера лупоглазая, избаловала ево: «Мой сыночек, мой чафранчик» — передразнивал жену Степан Андреевич. — Вот напечёт он нам лепёшек, этот «чафранчик»... А тода пристала: «Гармонь, отец, купи ему гармонь двухрядку». Прямо

одолела, чёртова цыганка, у-у-у, черти... — в сердцах выговаривал Степан Андреевич присмирившей от Мишкиных проделок Елене Степановне.

2

Без радости прошло детство младшего сына Веренцовых — семья в те годы переживала трудные времена. Степан Андреевич пришёл с действительной старшим урядником, был выбран станичным атаманом и прослужил на этой должности девять лет. Семья скопилась большая, а хозяйство без рабочих рук пришло в упадок. «Если бы я не бросил атаманить, — говорил после Веренцов, — то на себя и на ребятишек пришлось бы сумки повесить. А жена всё ещё послужить да отдохнуть уговаривала».

Бросил Степан Андреевич службу атамана, но долго не мог вылезти из нужды, пока не подросли старшие дети: дочь и два сына.

С давних пор их станицу посещали летом дачники: из разных городов приезжали сюда подышать свежим степным воздухом, покупаться в Урале с его прекрасными пляжами, попить кумыс из ближайшего киргизского аула, порыбачить, поохотиться. Ежегодно все дома станицы занимали господа-дачники, а хозяева ютились в землянках во дворе — зимнем прибежище для телят и ягнят.

Дачники, чаще всего — женщины, барыни, как их здесь называют, мужья их где-то служат.

Приезжали и парами, но «Бог их знает, супруги они или посторонние, — Бог им судья. Бывало, куда ни пойдёшь, — рассказывают жители, — везде видишь: господа лежат в одиночку, лежат парами, обставятся зонтиками да бутылками с кумысом. Лежат в поле, лежат в роще чуть не под каждым кустом, лежат на песке по берегу Урала. Ну везде, везде лежат. Говорят, будто бы греются да жариваются на солнце: «выгоняют какую-то болезнь». Ково они там выгоняют, ково загоняют, леший их знает, дери их горой», — говорили жители станицы, погружённые в собственные крестьянские дела. Бывали случаи, что такую-то барыню видели с таким-то казаком, тоже будто бы подогревались.

Мишке было пять лет, когда к Веренцовым приехала барыня из Перми с тремя детьми, няней и кухаркой.

Было лето. Проснувшись рано утром, Мишка направился было на улицу, но решил зайти в землянку, где мать готовила что-то и пекла хлеб. Мишка надеялся перекусить. А есть он хотел всегда.

Войдя в землянку, он попросил у матери поесть.

— Вон там в чугушке варёная картошка, ешь, — сказала мать, не поворачивая головы. Мишка заглянул в чугунок. Там был мелкий, варенный в кожуре картофель, который лень бывает чистить.

Мишка взял чугунок руками, как ухватом, и понёс на стол,

испачкав руки в саже, которую сейчас же вытер о рубашку. Отломил насколько хватило сил, кусок хлеба, достал из печурки соль и принялся за еду. Он очищал картофель от кожуры, прищипывал и покидывал в рот одну за другой вприкуску с хлебом. Это продолжалось долго. Елена Степановна уж забыла о Мишке, суетясь у печки. Тишина была нарушена появлением барыни на пороге землянки. Ей, как видно, не спалось на новом месте, она уже выходила на крутой берег Урала — до него было шагов сто, и, вернувшись, решила поближе познакомиться с хозяйкой-казачкой.

Она тут же заметила Мишку, чья белая, как ковыль-цветун, голова еле возвышалась над столом. Он не видел в чугушке картошку и доставал её ощупью, вставая для этого. Опять садился и опять вставал, громко сопел и жевал с набитыми щеками, из-за чугушка крадучись смотрел на барыню, поминутно вытирая рот и нос рукавом рубахи.

— Ах, какой прекрасный, какой очаровательный мальчик! Это ваш, хозяйюшка? — спросила барыня и, не дожидаясь ответа, пошла к столу. — А что он здесь кушает? — как бы сама себя спросила она. — Ах, батюшки, хозяйюшка! Да вы что: такую грубую пищу да такому малютке! Ах, Боже мой, Боже мой! — чуть не со слезами повторяла дачница.

Елена Степановна вспомнила, какая участь может ждать её

картошку, и быстро пошла к столу со словами:

— Ах, чёрт бы его взял, а я и забыла, он тут, наверное, всю картошку сожрал. — Она заглянула в чугунок: — Так и есть. Ах ты, обжора ты этакий! Да как ты не подавился? Вот смотри, — обратилась она к барыне, — грубу пишишь, говоришь. Да ведь я тут без малова на четверых варила, а он всё стрескал. Вот тебе «чаровательный», возьми ево за грош, язви ево», — вопила она.

Мишка, видя, что ситуация принимает опасный оборот, поспешил сбежать на улицу.

Изумлённая барыня молча покинула землянку: «Боже мой, Боже мой, каких детей людям Бог даёт, с каким аппетитом! Картофель, сухой картофель! И едва ли у него когда-нибудь желудок болит, судя по его виду. А мои-то, Боже мой! — мясных блюд не надо, сладкие не хотят, молочные на желудок действуют. Да, если накормить их сухим картофелем, да ещё таким недоброкачественным — ну и поминай, как звали...»

Елена Степановна, оставшись одна, продолжала ворчать:

— Ну, пусть только явится этот «чаровательный», я ему накладу палкой. Те были хороши, хоть кадык завязывай тряпкой, жрали — не наготовишься, а этот так ещё жаднее всех...

Кухарку свою барыня застала ожидающей распоряжений к завтраку. Она рассказала о том, что минуту назад видела и слышала,

обрисовала Мишку, назвала его необычайным существом, выросшим, как цветок-тюльпан на этой грубой ковыльной почве. Решив немедленно посмотреть этот цветок, кухарка предложила барыне попросить хозяйку, чтобы та отпустила мальчика к господскому столу — может, под влиянием Мишкиного аппетита и дети будут хорошо кушать. Барыня похвалила кухарку за находчивость. И делегация направилась к землянке.

Елену Степановну они застали на том же месте и за тем же делом. После вступительной речи барыни с доказательствами необходимости и пользы Мишкиного участия в господских обедах приступили к главному: просьбе, где по адресу хозяйки и её мужа не скупилась на обещания благодарности в случае согласия. Наконец кухарка сказала:

— Ну поймите же, хозяйюшка, ведь с вашим мальчиком ничего не случится, у нас его никто не обидит, за это вы уж, пожалуйста, не беспокойтесь.

Елена Степановна давно бы прервала квартирантов и не дала бы так себя упрашивать, но она долго не могла понять, что от неё хотят господа. Когда те кончили, она, рассмеявшись, сказала, что была бы очень рада, если бы господа взяли Мишку, этого обжору, себе совсем. Причём остерегла, что Мишка может обожрать их, разорить.

Замахав руками на это предостережение, женщины, до безумия

радуясь, выпорхнули из землянки. И начались приготовления к завтраку. Елена Степановна между тем недоумевала: «Ну зачем им надо, чтобы ихние дети много ели? Ходят, ищут помошников пожрать. Гы-ы, чудные-то... Тут впору кадьки ребятишкам завязывать, а они бегают по дворам, ищут помошников обедать, ничо в толк не возьму».

Когда в господской половине завтрак был готов, приглашать к столу Мишку пошла вся семья: барыня, няня, кухарка и трое детей. Замыкала шествие кошка Мурка, привезённая из Перми, белая, как снег, и мохнатая, как ёлочный Дед-Мороз. В тот момент, когда весь отряд был за воротами, Мишка сидел на дороге посреди улицы, вытянув ноги, и нагребал пыль в подол рубашки. Барыня сразу узнала его и, как будто найдя утерянную драгоценность, закричала: «Вот он, вот он! Этот самый!» Мишку стали звать на несколько голосов: «Мальчик, мальчик, иди сюда!» Мишка не сразу понял, что зовут его. Оглянулся за спину — нет ли кого за ним, там никого не было. Тогда только Мишка решил, что позывные относятся к нему. В беспорядке на этот раз высыпал пыль из подола, вытер о рубашку пыльные ручонки, заложил их за спину и как взрослый зашагал к воротам, где его ожидали семь душ.

— Как тебя зовут, мальчик? — обратилась к нему барыня.

— Мишкой. А што? — ответил

и сразу спросил Михаил Степанович, не убирая рук из-за спины.

— Мишенька, нам всем страшно хотелось бы, чтобы ты всегда, всегда участвовал с нами при кушании в завтрак, в обед и ужин. Ты сейчас кушать хочешь?

Первых слов Мишка не понял, но последние ему очень понравились:

— Хочу! — живо ответил Мишка и бойко посмотрел на всех. Все расхохотались.

Впервые Мишка слышал подобное. Он привык к более лаконичному: «Иди обедать, иди жрать, ждать не будем». И это было понятно и достаточно.

Старшая дочь барыни Юля перечислила Мишке названия блюд на завтрак, но ни об одном из них Мишка никогда не слышал. Он прошёл вперёд и направился в барские покои, сопровождаемый всеми. Он шагал и недоверчиво озирался по сторонам — не подвох ли какой.

На кухне их ждал стол с приготовленными тарелками, мисками и светлыми, как зеркало, металлическими ложками. Детей рассадили за столом. Мишку поместили между шестилетним Бориком и восьмилетней Кларой. Мишкин одноклассник Борик ростом выше Мишки, но вдвое тоньше и легче. На грудь им повесили белые, как снег, салфетки. Повесили и Мишке на потерявшую цвет от грязи рубашонку. Он сидел с опущенными по швам руками и робко рассматривал свою

салфетку. Его белая голова еле виднелась из-за стола. К Мишкиному удивлению, перед каждым поставили отдельную тарелку и положили коварную, горячую, как огонь, во время еды ложку.

Мишка знал обеды лишь из одной общей большой чашки, всей семьёй, деревянными ложками, поэтому всё, что сейчас происходило за столом, захватило его так, что время для него остановилось. Он поворачивал голову в сторону каждого, кто приносил что-либо на стол. А когда увидел в руках кухарки желе, не выдержал, спросил:

— А это што у тебя, сладкий кисель, што ли?

— Да, да, да, именно кисель, — скороговоркой ответила та.

— Ево тоже есь будем, штоль? А? — поинтересовался Мишка.

— Разумеется, кушать, а куда же его девать? — улыбалась барыня.

— Гы, я думал, гостям наварили. У нас только гостям варят, — сказал Мишка, шмыгнув носом и подвинув тарелку с чем-то к своему краю.

— Да, да, гостям мы наварили. Но ведь ты-то у нас гость? Ну, вот тебя и будем угощать, — успокоила кухарка.

Мишка недоверчиво улыбался и облизывал губы. Юля, тринадцатилетняя дочь барыни, целовала его в голову, в лоб, в щёки. В ответ Мишка чесал места поцелуев и вертел головой.

Положили котлеты с подливом — обычно завтрак был

скромнее, но сегодня походил на обед — няня предположила, что дети, проголодавшиеся в дороге, будут кушать больше обычного.

Как только Мишкину тарелку наполнили, он, не дожидаясь других, тотчас взял в обе руки по котлетке и быстро съел, а подлив выпил через край, прежде чем ему успели сказать: «Мишенька, ты с хлебом кушай, а то желудок испортишь». После этого отвернул салфетку и тщательно вытер о рубашку руки и губы. Затем подвинул к себе тарелку с белым хлебом и стал есть хлеб.

Никогда этим женщинам не приходилось видеть подобное и так смеяться. Весь обед они забавлялись своей «игрушкой», которая невозмутимо отвечала на все вопросы с детской простотой, а главное, деревенскими выражениями. Барчуки, недоумевая, смотрели на него и тоже смеялись, особенно Юля.

После завтрака дети вышли из-за стола, с них стали снимать салфетки. Мишкина оказалась более грязной изнутри — от рубашки, испачканной в пыли, в саже, в дёгте и ещё в чём-то, несмотря на то, что вчера он её сам «стирал» в Урале, перемазав в болотной грязи в роще, куда ходил с друзьями за грачатами.

Когда сняли салфетки, Мишка отряхнул и разгладил рубашку на животе, как бы опасаясь: не испачкалась ли она о салфетку, и направился к выходу, но Юля его остановила:

— У нас есть хорошие игрушки, мы пойдём все вместе играть на улицу. А сейчас нужно поблагодарить маму, няню и тётю.

Слова «поблагодарить» Мишка не понял, но когда дети стали подходить к женщинам, подавать руки и говорить «Спасибо», Мишка последовал их примеру — это ему было известно.

Совсем забыл Мишка о том, что он дома. Ему казалось, он попал в какой-то неведомый мир. Он забыл всё, что помнил о доме вообще. Проходя мимо своей землянки по двору, он постарался поскорее прошмыгнуть, чтобы не быть снова втянутым в её безрадостную бездну. Больше всего он боялся, чтобы не вышла мать и не отругала за то, что он надоедает господам, да ещё и объедает их. А может, мать не забыла ещё картошку?

Принесённые игрушки совсем ошеломили его. Таких красивых мячей Мишка не видел никогда в жизни, даже у барчат, а уж у друзей — где там иметь такие сокровища! Вот уж теперь он наиграется в мяч, сколько захочет. А то свалил из коровьей шерсти, что это за мяч! Слезы одни, а не мяч! Намокнет — суши его целый день, а потом шмякнешь об стену, а из него вода во все стороны и не отпрыгивает. Мученье одно.

Без Мишки теперь даже не садились за стол — дети заявляли: мол, у них плохой аппетит, когда нет Мишеньки. Когда наставало время обеда, а Мишка отсутствовал по каким-нибудь

«неотложным делам», то приходилось ждать его или разыскивать, ничего не поделаешь.

Иногда заходила Елена Степановна и ласково у квартирантов спрашивала, не надоел ли им Мишка да не объел ли он их, а то, мол, и прогнать неудобно. Тогда Юля бросалась ей на шею и просила не говорить этого. Барыня же подтверждала, что она очень довольна прекрасным настроением своих детей в обществе хозяйского ребёнка.

3

В середине срока господского отдыха приезжал на несколько дней сам барин, здоровый полковник лет сорока. Барин сказал, что Мишенька — необыкновенный мальчик с интересным, многообещающим будущим. Лаская Мишку, приговаривал: «Богатырь ты будешь с виду и казак душой...»

Барин уехал, и побежали, как прежде, весёлые, наполненные играми, купанием и обеденными церемониями дни.

Но всему бывает конец. Сизокрылым голубем пролетела Мишкина сплошная масленица.

Квартиранты, а особенно Юля, стали просить Елену Степановну отпустить с ними Мишку в Пермь. Елена Степановна не соглашалась:

— Оно бы шут с ним, наплевать, пускай бы ехал, у нас их, вы сами знаете, кроме него семеро, да и привезти то вы бы его привезли весной, куда он к шуту

денется, с хлеба долой, но ведь вы с ним замучаетесь. Мишка, ведь это такой человек — ево вон в город с собой возмёмшь, дак и то он злу тоску нагонит: домой да всё, домой хочу. А с вами вон только до обрывов доедет и начнёт кричать, как поросёнок под ножом, — Елена Степановна при водила убедительные примеры. — У-у-у, и не говори, Юлечка, и не проси, милая, проклянёте вы и нас, и себя.

Благодатный город Пермь представлялся Мишке не таким, как Оренбург со своими огромными, мрачными домами и душными, пыльными, шумными улицами, от которых в сон клонит и домой хочется. А в Перми и воду-то берут не из Урала, а из какого-то крючка, согнутого из железа, просто на улице. Тоже плохо, пойдика, искупайся там, попробуй. Нет, Пермь-то, наверное, хорошая станица. Роца большая, больше нашей, грачат там, должно быть, полно, лови, сколько хочешь. Подсолнышков много растёт, а арбузов и дынь — сколько влезет. В ярах стриженных гнёзд — видимо-невидимо, а рядом висит солодковый корень в руку толщиной, дёргай знай. Мишка согласен ехать, но мать — ни в какую. Придётся остаться, нельзя же мать обижать, чего доброго, любить не будет. Мало ли што хочет Юля! Она вон говорит, што могут увезти меня потихоньку от матери, эх, какие хитрые, а рази так можно? Вот если бы они и маму взяли, вот это бы да!

За несколько дней до отъезда поехали в город фотографироваться с Мишкой, он был заснят в разных позах и гримах. И отдельно с Юлей. До этого Мишка свою физиономию, кроме как в ведре с водой да в начищенном самоваре нигде не видел, даже в зеркале. Зеркало у Веренцовых было старое, почерневшее, прибитое высоко, чтобы не достали дети. На прощанье Мишке подарили столько всяких игрушек, что их могло бы хватить до старости.

В день отъезда все уже до восхода были на ногах. Юля в эту ночь не спала ни минуты. Она несколько раз подходила к сеням землянки, где спал с матерью Мишка, совершенно равнодушный к завтрашнему событию. Елена Степановна не могла знать страданий Юли, иначе бы она отступилась от своего решения, отпустила бы Мишку с господами, а там — как знать? Может быть, и остался бы в Перми навсегда. Юля то ходила по двору, то сидела на крыльце и ждала, не выйдет ли Мишка; ей хотелось в последний раз погладить его по белой пушистой голове... Уже перед утром, когда Юля всё ещё сидела с распухшими от бессонницы глазами на своём крыльце, на вопрос няни, давно ли она встала, ответила: «Только сейчас». Что-то подсказывало ей, что правду говорить нельзя.

Никакие уговоры на Юлю не действовали, она рыдала до самого Оренбурга. С ней плакали

и остальные дети, им тоже не хотелось расставаться с Мишкой. На одной из станций как будто уже успокоившаяся и смотревшая в окно Юля вдруг не своим голосом закричала: «Мишенька! Вон Мишенька!» — и бросилась к окну. Поезд, набирая скорость, отходил от перрона. Девочку еле удержали и успокоили. Позднее Юля рассказывала, что вне всякого сомнения она видела на перроне Мишеньку...

И этому должен был прийти конец. Под новыми впечатлениями Юля постепенно забывала Мишку, но всё же дала себе слово, что хоть через десять лет, а увидится с ним, чтобы больше не расставаться. Какой любовью любила она Мишку — трудно понять.

Впал в тоску после отъезда квартирантов и Мишка. По несколько раз на дню заходил он в дом, осматривал все уголки: не окажется ли там что-нибудь, напоминающее о дачниках, и не найдя ничего, выходил со слезами. Иногда со двора он отчётливо слышал голоса Юли и барчуков в доме, бросался туда, но кроме жуткой тишины, там никого не было.

4

Мишка перестал есть, с ним случилась горячка. Болезнь в таких случаях — лучшее лекарство. С квартирантами Мишке было не до друзей, ведь столько игрушек у барчат! А теперь, пожалуйста, можно сходить. Пришли друзья,

и через несколько минут их ватага была уже в роще. Со всех сторон окружала их шелестящая листва, пронизанная золотистыми снопами солнечных лучей; густые кусты шиповника с ярко тлеющими плодами, заросли жимолости, опутанной цепким хмелем. Порхали, щебетали на знакомые голоса птицы.

Мишка забежал на то место, где больше месяца назад выпустил в кусты нескольких грачат из своего садка. Птенцы, очевидно, уже летали вместе со взрослыми, вон сколько их кружилось над головой, роняя белые капли.

Под кустами колючего шиповника и жимолости женщины выбирали ежевику, она росла здесь в изобилии, крупная, иссиня-чёрная, такая сладкая! Только пробивающаяся кое-где жёлтая листва выдавала приближение осени. На бахчевых полосах у рощи над Уралом звали к себе дыни, арбузы, тыквы, подсолнухи с тяжёлыми, свисающими, высматривающими что-то на земле головами. Ласкали глаз светло-жёлтые и буро-зеленоватые дыни, некоторые, не снятые вовремя, растрескались под жарким солнцем, источают аромат, стоит только взять в руки... А белые и полосатые тонкокожие арбузы! Воткнёшь в него конец ножа — арбуз тут же раскалывается пополам, мякоть в нём красная, даже с каким-то розоватым оттенком, посыпанная, как бисером, мелкими каплями влаги, а вкус, а аромат... Боже!..

Мишку не занимало сейчас всё это. Он неотступно думал об уехавших, ему казалось, что, пока он здесь, они вернулись в станицу. Он опрометью кинулся домой.

После этого Мишка пролежал ещё несколько дней. В полубреду видел перед собой Клару, пытающуюся побороть его, Борика — с худенькими ручонками. Иногда, договорившись с няней съесть полагающееся ему не за столом, а на улице, Борик, подав Мишке знак, убегал с едой за соседний угол и ожидал друга. Дорогу за угол Мишка знал хорошо, там он с удовольствием «выручал Борика из беды».

Видел Мишка перед собой и милую, какую-то близкую, родную Юлю, никогда без улыбки не смотревшую на Мишку, в каком бы настроении ни была. Иногда, подбежав к ней, он обнимал её ноги. Он помнит постоянные слова Юли: «Мамочка! Да посмотрите же сюда, убедитесь, что Миша бесподобно забавный!» А иногда Юля с тем же бежала к Елене Степановне, целуя её, упрашивала пойти посмотреть на этого проказника, но Елена Степановна, поцеловав барышню, как дочь, отвечала:

— Боже мой, а то я ево не знаю. Он мне по ночам надоел, как лихоманка, все бока протолкал ногами, возьмите ево хоть на одну ночь, ради Бога. — Но Мишка не хотел ложиться ни с кем, кроме матери, несмотря на

то, что у неё на постели кусали блохи и клопы.

Но вот и пожелтели листья на деревьях. Сильные осенние ветры сметали их в кучки, разбрасывали и, покрутив вокруг какого-то невидимого центра, складывали на другом месте. Совсем обнажились деревья, сквозь них ясно просматривалась даль. Горячие летом песчаные пляжи опустели и похолодали. Пусто и жутко в роще, не слышно в ней ни одного голоса. Там, где были тяжёлые головы подсолнухов, теперь чёрное поле, утыканное толстыми, короткими будильями. На бахчах темнели брошенные, убитые заморозками недозревшие дыни, арбузы, тыквы. Утки уже не плавали по реке, а собирались стаями по берегам — с поджатыми ногами плотно припав к песку, поминутно жалобно и громко кричали, как будто звали улетевшее лето.

По ночам в небе слышны были на разные голоса крики пролетающих птиц. Блестящая лента Урала хорошо видна им с высоты, она указывает путь с севера на юг — к морю на зимние квартиры. Иногда перелётные птицы останавливались на дневную кормёжку, стаями садились на воды Урала, озёр, стариц. Сиделись на просторные поля, собирали по жнивью оставшиеся колосья и зерно.

В эту осень Мишке казалось, что лето увезли с собой барчата, и оно сейчас с ними там где-то.

Вскоре пошёл снег. Суровая настала зима. Ежедневно дули морозные ветры, воздвигая огромные снежные дюны. Как в спиртной бочке, захватывало дух. По ночам трескались оконные стёкла. Даже в полдень не грело яркое холодное солнце.

Степан Андреевич собрался на ближайшую, в одной версте, мельницу смолоть пшеницы на муку. Мишка стал просить взять его с собой. Он знал, что на мельнице очень интересно: всё крутится, стучит, всюду что-нибудь сыплется. Но разве отец может понять всю силу и серьёзность Мишкиного желания. Он наотрез отказался взять, пугая трескучим морозом и выюгой. Мишка обращался уже и к матери, чтобы та попросила отца, но она тоже отказалась. Она в этих случаях всегда, как назло, держит сторону отца. Да они, видимо, договорились как-нибудь оставить Мишку дома.

Тогда Мишка решил действовать самостоятельно: надел пальтишко и пошёл на улицу караулить. Когда отец выедет, Мишка побежит за ним вслед до самой мельницы на расстоянии, чтобы не увидел отец и не вернулся назад кнутом.

Степан Андреевич поехал из ворот не оглядываясь, только потеплее закрылся воротником тулупа от ветра. Мишка побежал сзади.

На выходе из станицы перед последними домами сильный

морозный порыв хлестнул Мишке в лицо и сбил с ног. Он встал и побежал снова. Последние дома остались позади. Сани отца скрылись в пурге. Ветер дул в лицо. Мишка напрягал усилия. Давно исчез погнавший рысью отец. Морозный ветер, как спиртом, заливал нос, рот и уши, сбивая с дороги. Наконец ветер, как из гигантского насоса, резанул снегом в лицо. Мишка задохнулся, упал и потерял сознание. Метель в бешеной пляске закружилась над ним, наметая сугроб.

В последний момент Мишка услышал какой-то голос далеко впереди и испугался, что это отец заметил его. Как оказалось, это был голос казака — родственника Веренцовых. Он возвращался с мельницы и, когда поравнялся со Степаном Андреевичем, громко ответил на какой-то его вопрос и поехал рысью.

Вдруг конь его остановился и, фыркнув, бросился в сторону.

Казак соскочил с саней. Он решил, что Веренцов потерял какую-то одежду, и поддел её кнутовищем. Одежда не поддавалась, пришлось взять руками и поднять...

Казак прискакал домой, бросил коня у ворот, вбежал в избу с Мишкой в руках и закричал растерявшейся от испуга жене: «Скорей давай отогревать, кажется, до смерти замёрз Веренцов Мишенька!»

Что стало бы с Юлей, если бы она видела сейчас Мишку? Она сошла бы с ума. Юля в этот

момент сидела на мягком диване и рассматривала Мишку на фотографии, привезённой летом из-под Оренбурга. Сегодня ночью она так странно видела его во сне. Мишка стоял на зелёном поле, весело смеялся, а на голове у него был большой букет цветов, корни которых свесились до колен и крепко опутали ноги. «Это плохое предзнаменование», — сказала мать Юле.

Положенный на лавку, Мишка еле дышал. Он был без сознания. Бельми, как снег, и жёсткими, как дерево, оказались пальцы на руках, щёки и уши. Всё это стали оттирать снегом. Осмотрели ступни ног, сняв валенки — ноги были не поморожены, но не догадались посмотреть колени, поражённые больше всего. В тёплой комнате они оттаяли сами, с них каплями стекала вода.

Через час Мишка пришёл в чувство и спросил:

— А где же Юля? Как какая Юля? Она вот сейчас тут стояла.

Ещё через два часа Мишку отвезли домой.

Елена Степановна благодарила родственника и его жену, заочно ругала Степана Андреевича и Мишку. Тем дело и кончилось. Мало ли чего бывает.

Степану Андреевичу рассказали об этом уже без всякой подчёркнутости и интереса. Так и прошло всё, только Мишка после этого лет пять жаловался на нестерпимую боль в коленках, но прошло и это. Да только ли это... Проходила суровая зима,

наступало жаркое безоблачное лето. Не перечислить Мишке, сколько раз приходилось ему тонуть в Урале, прежде чем он научился плавать. Несколько раз сам вылезал из глубины, много раз вытаскивали за уши и за ноги купальщики постарше.

Но однажды Мишка чуть было не ушёл навсегда «бурок ловить». Спасла его, совсем скрывшегося под водой, какая-то девица. Не придавая этому большого значения, она вытащила Мишку на берег, шлепнула по мягкому месту, обругала; заметив его взгляд, закрылась ладонями ниже пояса и снова побежала в воду, крикнув на бегу:

— Чей-то, холера, ведь чуть совсем не утонул, собачий сын! — И тут же забыла о нём.

Мишка полежал на берегу, несколько раз его стошнило, потом он, как пьяный, поплёлся домой, где ничего о случившемся не сказал, чтобы не наказали и не запретили ходить на Урал.

6

И опять наступила зима... По слёзной просьбе Мишки старшие его сестрёнки рано научили его читать и писать, лишь бы приняли его поскорее в школу. Чтобы не оставался он дома и не приходилось бы сестрёнкам вздыхать, сидя в школе: «Ой, ну что же опять там сегодня будет с нашими куклами? Опять там остался этот Мишка, опять он все куклы разорит, собачонок».

Но Мишку по молодости в школу не принимали, и он отсиживался дома. Как ни следила Елена Степановна по просьбе дочерей за Мишкой, чтобы он не громил их кукол, не оставлял их «в чём мать родила», уследить за ним было трудно. Куклы были на печке, где поселялся и Мишка. Прогнать его оттуда зимой некуда, на улице холодно. Мишка посматривал на кукол, поставленных спиной к стене с растопыренными руками. Перед ними тщательно сложены лоскутики всяких цветов, разные пузырьки и бутылочки. Чего там только нет, сердце замирает! А как хочется всё посмотреть да поиграть! Но мать, как на грех, долго не уходит. Время тянется вечностью. Мишка, посапывая, то ляжет, то сядет неподалёку от кукол, то подвинется, то отодвинется. Наконец мать ушла. Действовать нужно скорее, иначе вернётся мать и придётся с куклами распрощаться до завтра... Елена Степановна вскоре вернулась. Мишка сидел на том же месте, никаких подозрений.

К приходу девочек Мишка залезает под нары у печки. Он знает, что сёстры сейчас поднимут шум, но вот как старшие отнесутся к их горю — разгрому кукольной семьи? Если пошумят да перестанут, можно будет вылезти из-под нары, а если будет угрожать опасность, может быть, придётся посидеть до ночи, ничего не поделаешь.

— А где Мишка? — с порога спрашивают мать явившиеся из школы девочки.

— А шут ево знат. Убежал куда-то, — отвечает та.

— Ну, если удрал, значит, опять нашкодил, — совещаются между собой девочки. Повесив сумки на гвоздь, быстро вскакивают одна за другой на печку — проверить своё несчастное хозяйство.

— Ай-ай-ай! Батюшки! Мама, мама, да что же ты смотрела? Да ведь что он здесь настряпал, востроглазый, — обнаруживают сестрёнки опустошение в кукольных рядах; крик, плач на разные голоса, угрозы по адресу опустошителя.

— Вот у этой куклы юбка была завязана на поясе, а он завязал на шее!

— А у моей, у моей-то руку завернул за спину, и теперь она не держится, мотается.

— А у меня вот здесь был пузырёк, а в нём вода, будто духи, а он, шельмец, воду-то вылил, а туда посадил муху да заткнул...

— Лоскутики, лоскутики самые красивые выбрал и не знаём, куда девал. Да ещё много тут беды натворил, да разве сразу увидишь... А-я-яй!

Мишка тоже чуть не подал голос из-под нары, мол, зря кричите: лоскутики-то все целы и заткнуты в валенок матери, но спохватился: время сейчас самое жаркое, да и вообще-то, пожалуй, дело дрянь. Как видно, сегодня придётся сидеть долго, перестарался с куклами-то.

Скоро обед, но тут, видно, не до обеда. Эх, и злые они сейчас, думает проказник. Но боялся Мишка напрасно, его никогда не наказывали, а проделки его вызывали у старших только смех.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

С дынями и арбузами Веренцовы подъезжали к станице. Степан Андреевич ругал про себя Мишку — шёл парню уже восемнадцатый год, сравнивал со старшим, Дмитрием, которого Мишка перещеголял своими проделками.

«Вот Пётр, тот совсем другой, — думал Степан Андреевич, — тот не такой, как эти заразы. Он к бабам совсем не касатца, а и мне-то никогда слова поперёк не скажет. Оно хоть и Мишка-то смирный, нечего зря говорить. А уж Митрий-то — ох-хо-хо. Я уж, вить, прямо побаиваюсь маенько, язви ево. Вон какой клок бороды выдернул, да в коленку пнул тогда, на Петров день в пьяном виде, — Степан Андреевич машинально потрогал левую сторону бороды. — Ну, это опять бы ладно, но вот по бабам оне бегают, язви их, вот ето мне больше всего не нравитца. Ну, какую сласть они находят в этих бабах, а? Тьфу, заразы! Подь они все к чёрту, язви их... А всё-таки мне их жалко, война сейчас, могут погибнуть едыкие молодцы».

С этими мыслями Веренцов подъехал к дому. Елена Степановна тоже была в задумчивости. У ворот их встретил Мишка.

— Вот, Миша, я тебе самую сладкую дыню отложила, — сказала мать.

— Ну, вот и спасибо, а я её Мите подарю, — сказал сын.

— Как Мите? Разве он приехал? — спросил отец.

— Да, приехал. Окончил курс, скоро уезжает в училище. Все учебники привёз мне и велит выучить их к весне.

Дмитрий на действительной служил вахмистром. Когда началась война, не успел доехать до фронта — вернули в тыл: в должности кадрового инструктора обучать мобилизованных казаков. Войсковое начальство предложило ему, кроме того, окончить курс общеобразовательного ценза вольноопределяющегося¹⁴, чтобы поступить в военное училище.

Брата Мишку Дмитрий любил — как и он, тот был развит, красив. Сельскую школу Мишка окончил с похвальным листом, любил читать, хорошо писал — грамота Мишке давалась легко, здесь он был на голову выше своих одноклассников. Дмитрий решил тянуть брата за собой, довести до офицера, пользуясь военным временем.

Услыхав о приезде сына, родители послали за ним и его женой. Дмитрий пришёл сейчас же.

Отец шёл с заднего двора, когда Дмитрий показался в воротах. Посреди двора они встретились,

обнялись и крепко расцеловались, хотя недавно виделись.

Степан Андреевич увидел у сына на погоне кроме вахмистрской нашивки пёструю по краю обшивку из белого, жёлтого и чёрного кантов, что означало образование вольноопределяющегося.

Дмитрий был в новом, хорошо пригнанном мундире, каستоровых брюках с голубыми лампасами, фуражке с голубым околышем и кантом, с белой фарфоровой кокардой. Всё шло ему, цветущему в свои тридцать лет.

Шумно беседуя, отец и сын шли к столу. Елена Степановна выбежала навстречу. Степан Андреевич остановил Дмитрия, отошёл от него шага на два и, обойдя вокруг с приложенной ко лбу рукой, с жаром сказал:

— Мать, радуйся детушкой, радуйся красавцем. Как знать, может быть, и не долго придётся радоваться: вон как польхает война, в её хайло не мало надо таких молодцов, — и слёзы радости и тёмного предчувствия увидел Дмитрий на глазах отца.

Мать вытирала фартуком непрошенные слёзы, шептала:

— Бог милостив, он не допустит... — она крепко поцеловала сына.

Дмитрий самодовольно улыбался, не тронутый словами отца о войне. Он сунул в руку матери какой-то гостинец и, смеясь, сказал громко:

— Только тятя не показывай, а то отнимет.

— Ну нет, я это не люблю. Мне бы побольше на столе да в стеклянной посуде, — шутил Веренцов.

Радостный круг семьи Веренцовых зашумел во дворе, в тени садика за сытным столом. Июльское солнце благодатным светом щедро заливало двор. Как жар, горела на солнце кокарда фуражки, висящей на гвозде, изумрудами переливался галун на голубом фоне погона. Переполюющую гордость вселял в родных будущий казачий офицер Дмитрий Веренцов. Всё в эти дни радовало Степана Андреевича и Елену Степановну: и крепкое их хозяйство, и урожай, и будущее детей.

По случаю приезда Дмитрия вскоре собрались гости, и всё закрутилось колесом. А потом гости и хозяйева толпой вышли со двора Веренцовых и направились по улице.

Как хорошо пройти со своими по родной станице! Снова увидеть милый с детства высокий берег Урала, ровные улицы с уютными одноэтажными домами, вознёсшимися над рекой. За Уралом глаз отдыхает на родной панораме лесов и лугов, за которыми в туманной дымке, в мареве дрожит размытый расстоянием Оренбург.

Урал с золотыми и мягкими, как пена, песками по берегам, горячими в полдневный зной пляжами уносит зеркальные воды в неведомую, манящую даль, к просторам Каспия. Справа вспыхивает на солнце крест храма

соседней станицы Нежинской, невидимой отсюда из-за лесов.

Гудит станица в воскресный день, охваченная дугами и рекой внизу — с одной стороны и степью — с другой. Выговаривает что-то гармошка на улице, ей вторят другие на Урале и в роще. Гремят многоголосые песни старших и разухабистые частушки молодых. Пёстрым шумом жизни уходит станица далеко за пределы дня в глубокую ночь. С озёр и стариц доносятся голоса перекликающихся лягушек. Слух улавливает шелест листьев. Как масло, горит истома в молодой крови...

2

Совсем стемнело. Мишка стоит за углом и ждёт: толпа с улицы давно уже топчется против дома, где для него открыто окно. Наконец проходят. Мишка чуть не бегом поравнялся с условленным окном, в нём темно, но за ним угадывается фигура.

— Миша, это вы? — слышит он шёпот и видит поданные ему руки.

Едва коснувшись мягких рук, Мишка вскакивает в окно.

Это та самая молоденькая барыня из Калуги, Галя, которая неделю назад улыбалась Мишке в роще. В тот день она невольно долго наблюдала за ним, но он, не замечая, весело балагурил с товарищами. На обратном пути Галя просила свою хозяйку, сопровождающую её в прогулках, передать Мишке записку. Та

наотрез отказалась: тогда, мол, Мишкины барышни, а главная из них Надёжка, сживут её со света. Причина была другая, хозяйка прочила свою родственницу в невесты Мишке.

Несколько раз Галя проходила мимо дома Веренцовых, но Мишка, видно, был в поле. Невыносимо ждать до воскресенья, тянулся долгий, скучный четверг. Приехали хозяева с лугового сенокоса, сказали, там прошёл сильный дождь, едва ли он даст работать, и завтра все едут домой.

Галя снова быстро собралась, взяла зонтик, ридикюль и заспешила на берег Урала. Она долго ходила по крутому яру, поглядывая на дом и ворота Веренцовых. На душе было беспокойно, каждый звук вызывал острую тревогу, приходилось на него оглядываться...

Вдруг ворота Веренцовых стукнули и открылись, полотно калитки ушло внутрь, во двор, но никто не появился. Но вот со двора выбежали один за другим шесть коней, а седьмой красивый гнедой, с всадником. Это был Мишка. Вертясь волчком на несёдланном коне, он с длинным кнутом в руке налетел на сбившихся в кучу коней, завернул их и по широкому спуску под гору в карьер погнал в рощу. На молодую женщину он не обратил никакого внимания.

Галю кольнуло в сердце. Она растерялась, будто её захлестнуло волной, и она вот-вот утонет. Справившись с собой, она

поспешила в рощу. Она тяжело дышала, украдкой смотрела по сторонам, ей казалось, что все знают, куда и зачем она спешит. И какая-то радость билась в грудь, просилась наружу, как будто только что спаслась от гибели.

Но гибель только начиналась...

Прогнав коней в глубину леса, Мишка с уздечкой и кнутом на плече ходил по кустам, рвал ежевику и ел.

Увидев его, Галя подалась за куст. Стройный, тёмно-русый, в забранной в брюки белой рубашке с расстёгнутым воротом, в котором странно белела, споря с загаром лица и шеи, грудь, Мишка ошеломил её. Она поймала себя на желании броситься на него, как кошка на мышь, и не выпустить из объятий... Он действительно был хорош.

Вот Мишка завернул за куст и — увидел её, раскрасневшуюся от стыда и волнения, со свёрнутым цветным зонтиком и ридикюлем в руках, в белом полотняном отглаженном платье и белой панаме, цветных тапочках на босу ногу. Мишка на мгновение растерялся и хотел уже обойти женщину, но она, улыбаясь и путаясь в словах, заговорила с ним:

— Миша... Извините, вы не испугались меня?

Мишка отрицательно покачал головой: «Откуда она знает имя?»

— Я давно хотела... вас видеть и поговорить с вами, — тихо говорила барышня и смотрела мимо него. — Вообще, мне хотелось бы...

быть с вами знакомой... Я впервые вижу казаков, о которых так много рассказывал папа... Мне хочется расспросить вас, как живут казаки, каков их образ жизни, их нравы и прочее... К тому же здесь невыносимо скучно, я не знаю, куда себя девать...

Странная незнакомка запнулась. Пунцовая краска залила нежное, не тронутое загаром лицо. Мишка с интересом рассматривал её с головы до ног. Оба молчали. Ей казалось, что она сейчас провалится или стогрит со стыда.

— Да-а-а, задали вы мне задачу, барыня, — почесав лоб, проговорил Мишка.

— Для вас я не барыня, а только Галя, — кокетливо улыбнулась она.

Мишка бессознательно сделал шаг вперёд, оказавшись рядом с ней, в облачке её духов. Галя тяжело дышала, как птица в сетях. Она казалась Мишке жалкой, страдающей, разбитой. Она смотрела в землю. Как-то машинально Мишка убрал с её платья зелёный лист, упавший на грудь. От его жеста Галя вздрогнула и широко раскрытыми, недружелюбными глазами посмотрела на Мишку, в глазах которого не было ни насмешки, ни нахальства, кроме безразличного застенчивого простодушия. Уловив это, Галя улыбнулась и тем удержала Мишку, совсем уж было готового сбежать.

— Галя, нас здесь могут увидеть, — борясь с собой, сказал

Мишка. — Здесь рвут ягоды наши соседи, — соврал он, — расскажут по всей станице — меня засмеют. Лучше встретимся вечером у ваших ворот или ещё где, как вы захотите, а сейчас мне надо скорее домой, меня ждут, мне некогда.

— Ну хорошо. Только обязательно! — радостно и капризно сказала Галя. — Значит, так: крайнее окно моей квартиры будет открыто, и я буду ждать в окне. Да? — тихо спросила она.

— Ждите, приду, — ласково сказал Мишка, неожиданно для себя обнял её за талию, чмокнул в щёку, круто повернулся и побежал по тропинке. Галя крикнула ему вслед:

— Миша, Миша! Ровно в десять часов вечера, да?!

— Не знаю я часов, у нас их нет. А как смеркнется, так и приду, — отозвался он, прежде чем скрыться за кустами.

Уже на высоком яру, где начиналась станица, Мишка оглянулся. Галя выходила из рощи и чуть заметно махнула ему рукой. Мишка постоял немного, хотел что-то крикнуть, но рядом кто-то шёл.

Не чуя ног, Галя пришла домой, к месту и не к месту смеясь, стала угощать хозяев сладостями. Потом занялась приготовлениями к вечеру.

Ей было жутковато, временами она раскаивалась в том, что делает. Нервно ходила по комнате, останавливалась, засмотревшись в одну точку. Начинала

бить нервная дрожь и сковывала всё тело, руки не находили места. Она принимала решение: не открывать окно, а выйти к воротам, встретить его, посидеть у ворот, поговорить — и всё. «Нельзя же так сразу! Что он подумает? Осудит и не придёт больше». Но тут же передумывала: «Нет, впусти его в комнату, закроем ставни, зажжём свет и будем сидеть, разговаривать. Ничего не случится. Он не позволит глупостей... А там что будет».

А у самой снова, как в ознобе, начинали дрожать руки, ноги, всё тело. Она то садилась, то вставала: «Я не могу больше, я готова встретить тебя, милый, желанный, иди скорее!»

Когда Мишка вскочил в окно, Галя, не выпуская его рук, на секунду прижалась щекой к его груди, потом попросила посидеть в комнате, пока она закроет окно, и опрометью выбежала.

Мишка остался один посреди комнаты. Слышно было, как бьётся сердце. Где-то на улице пели девушки, играла гармошка, а здесь нежно тикали дамские часики. «Вот чёрт меня догадал прийти, — думал Мишка. — Теперь, как окунь, попал на кукан. Да где же она запропала? С каких пор закрыла окно и не идёт...» Он готов был сбежать, но выхода через дверь не знал, в этом доме он не был никогда.

Вбежавшая в комнату Галя в темноте натолкнулась на Мишку. Она, чуть касаясь, обняла его: «Ну, вы теперь мой гость», — и

пошла зажигать свет, но тут же вернулась со словами: «Ах, я и забыла, как же я не сообразила, бросила гостя на произвол судьбы, — оцупью подвела Мишку к кровати — Вот здесь посидите, пока я зажгу лампу», — и хотела уходить.

Мишка, державший её за руку, натолкнулся около кровати на Галю, ощутил её всю, ждущую, и каким-то током пронизало его... Он крепко обнял её за талию и притянул к себе. Она, как лиана, обвила его, задрожав всем телом. И бросились они с размаху, как с крутого яра в глубокую воду... И долго не отпускали друг друга, чтобы зажечь свет.

Когда свет всё же зажгли, Галя попросила:

— Не смотри на меня...

Мишка сел к столику, где лежало несколько книг, взял верхнюю с тиснением на обложке «Ги де Мопассан». «Ого, — подумал он, — поневоле на стену полезешь. Я этого автора знаю». Чтобы не смущать хозяйку, взял другую. Подошла Галя, села напротив.

В глаза друг друга они не смотрели. На ней был застёгнутый на одну петлю шёлковый цветной халат, обнажавший шею и начало груди с трогательной, затенённой сейчас ложбинкой. Он поневоле увидел волнистые волосы, небрежно собранные и зашпиленные на затылке, беспомощные завитки, свисающие с боков на розоватую шею. Эта женщина была прекрасна. Такая она

была ещё желанней, чем в начале встречи.

Мишка понял неуместность любого разговора, зашёл со спины и стал целовать Галю. Чем грубее были его ласки, тем милее они казались ей. На обоих напала неудержимая весёлость. Приблизив лицо и как будто запоминая, Галя рассматривала Мишку, заглядывала в глаза, гладила шею, руки, обнимала голову. Она пошла за занавеску кровати и позвала оттуда:

— Миша, Мишенька, иди сюда, иди скорее! Ох, что здесь случилось! — Мишка зашёл — Галя смеялась и тянула его к себе. Мишка потушил лампу...

Галя, дочь богатого калужского собственника Бориса Васильевича Мазорцева, в двадцать лет была выдана за хорошего человека, офицера. Прожила она с мужем всего два месяца. В четырнадцатом он ушёл на фронт и в том же году был убит. Галя искренно переживала его смерть, тем более что только начала входить во вкус семейной жизни. Но время шло, и горе постепенно размывалось. К ней многие сватались, но чувства Гали как будто заморозились. И только в станице при встрече с Мишкой с ней внезапно спали какие-то путы, мешающие ей жить. Всей молодой страстью она потянулась к его свежести и силе.

Галя и Мишка смогли расстаться только под утро. А потом уже не пропускали ни одного вечера. Смешало дни и ночи переполненное счастьем время.

Между тем война, раскрутив свой гигантский маховик, требовала всё новые и новые жизни. Здесь молодые в радостях любви сетовали, что часы скачут минутами, там, на фронтах, люди слёзно просили кого-то, чтобы ночь проходила скорее. Ночные минуты тянулись часами. Смерть как будто спешила воспользоваться темнотой, внезапно, безжалостно хватая, отнимая цвет жизни. А прекрасные тела, только что трепещущие надеждой, обезобразив, превращала в гниль. И всё же люди с винтовками наперевес бежали и бежали на врага, падали, корчились в смертной агонии и умирали. Другие ползли на животе или сидели в окопе, встречая врага огнём; разорванные снарядами, погребались развороченной землёй навеки.

Не видели пока этого перед собой Галя и Мишка, не знали, что их очередь страдать и умирать близка, что их тоже неотвратимо втянет безжалостный водоворот...

Сегодня, в день приезда Дмитрия, Мишка пришёл к Гале через задний двор. Она встретила его нетерпеливыми поцелуями. Днём, оставаясь одна, Галя думала о будущем. «Я не могу уехать отсюда одна. Если и уеду, станет так плохо, что, наверное, вернусь. Я уже не могу без этой неуклюжей нежности, без всего, что зовётся Мишей, Мишенькой... Женихи в Калуге — мухи около мёда, лгуны болезненные,

противно с ними говорить. Они и липнут-то из-за денег. А ведь этому ничего не надо, он и сам богат, и своё-то, не задумываясь, отдаст. Казаки не жадные, они вон и состояния пропивают».

Мишка сегодня пришёл позже обычного, был расстроен, но Галя этого не заметила. Его отругал отец за ночные прогулки, после которых Мишка дремал на работе. Они сели к столу.

— Миша, давай поженимся, — скороговоркой, как бы шутя, сказала Галя, покраснев, как яблоко. Мишка непонимающе смотрел на неё в упор. Галя не выдержала шутливого тона, обхватила Мишкину шею, уткнулась ему в грудь и прошептала:

— Я хочу быть твоей женой, твоей навсегда...

Мишка встал, отступил на шаг, в упор продолжая смотреть на Галю. По её лицу катились слёзы. Мишка с какой-то досадной грустью смотрел в глаза женщины, ещё недавно эфирно-недосягаемой, а теперь жалкой, уничтоженной...

— Да ты что, Галечка? Да разве это можно? Ты — барыня, а я? Я — простой казак. Меня тогда задразнят, скажут: «На барыне женился! А кто тебе работать будет, дуралей? Ребятишки будут за мной бегать: «Барин, барин, дай копейку». Ведь ты нас вот такими видишь, Галя, только на праздники, дома, а посмотрела бы в поле — под пылью не узнала бы никогда. Там у нас только одни зубы белеются. Наши бабы

сручные к работе: вилы возьмёт, черенья не терпят — ломаются, на жнейку сядет — сваливает, как мужчина. Наша баба любого городского мужика поборет, да ещё через себя, проклятая, норovit бросить, язвы её. Если взять тебя в поле, то за неделю с тебя весь лоск слезет, люди узнавать не будут...

Галя вытерла слёзы, молча слушала. Мишкины доводы убеждали. Но что же делать? Поехать домой одной, а его оставить здесь — нельзя и подумать об этом! Никто не сравнится с Михаилом. Ах, какой бы они были парой! И потом, из него так легко сделать человека «хорошего общества». Ах, Миша, Миша Веренцов! К тебе можно быть равнодушной, только пока не увидишь, не побудешь с тобой...

— Ну хорошо, милый. Ты женишься на станичной девушке. Только боюсь, скоро расквасишься, вспомнишь, но поздно. Будешь с женой, а думать будешь обо мне. И вернуться невозможно... Ну... в общем, не нужно об этом. Больше я об этом не скажу ни слова... Чтобы не портить тебе настроения.

Но настроение было уже испорчено. Не Галиным признанием, а нечаянным сословным холодком.

— Скажи, милый, ты хорошо умеешь скакать на коне? — вдруг спросила она, чтобы развеять натянутость, с мужественной весёлостью заглядывая казаку в глаза.

— Ну и чудная ты, Галечка, — рассмеялся он. — У нас бабы и то скачут верхом, как сумасшедшие, — Галя нахмурилась. — На коне скакать — какая хитрость, — продолжал Мишка. — Ты посмотрела бы, как я на свиньях скакал, вот это да!

— Как так, на свиньях? — спросила Галя.

— Да так: в детстве я со своим другом Панькой, вот с тем, с которым мы сегодня днём шли по улице, я играл на гармошке, а ты в это время стояла у ворот... Да, забыл, когда мы прошли мимо тебя, Панька толкнул меня в локоть и говорит: «Вот эта бы штука тебе, Миша, как раз была бы под масть».

Галя рассмеялась:

— А ты что ему сказал на это?

— Да так, улыбнулся и промолчал.

— Напрасно. Ты сказал бы, что я уже давно твоя.

— Мне ещё не надоело ходить к тебе, — возразил Мишка. — Признался одному, значит, признался десяти. От десяти узнают сто, а там и ловушку нам устроят. Ты думаешь, никому это не надо? Многим.

— Да, ты, пожалуй, прав. А друга твоего я теперь знаю. Правда, я его не рассмотрела как следует. Ну, расскажи про свиней, Мишенька, — домогалась Галя.

— Вот ты друзей моих не знаешь, а если бы я шёл с девушкой, ты все оборки у ней пересчитала бы. — Галя смеялась. — А про свиней так. Мы с этим другом

подладились на свиньях кататься. Увидим их на улице, загоним на пустырь, прижмём стадо к углу и прыгаем им на спину. Они пулей вылетают с пустыря и мчатся домой. Сколько раз падали с них! Держаться-то не за что и спина колесом. Я однажды скакал целый квартал на одной свинье, как Иван-Царевич на сером волке. Сижу, радуюсь, ветер в ушах свистит, а она скачет и хрюкает, а потом неожиданно как шмыгнёт в ворота... и я башкой доску в воротах выбил. После этого перестал на них кататься.

— Ой, да какие же вы все забавные, — хохотала Галя, предлагая Мишке вина.

— Нет, Галя, мы и так, наверное, сегодня с тобой проспим, — возражал он.

— Ну, миленький, выпей! Я прошу, Мишенька! Я не буду спать, буду следить за временем, — просила Галя. Они выпили.

Через час Мишка лежал на спине, ощущая под шеей мягкую руку, и говорил:

— Ну, Галечка, я на тебя надеюсь. Если хочешь спать, то прямо скажи, тогда я сам спать не буду.

— Нет-нет, мой милый, даю слово. Я так хочу, чтобы ты уснул. Я могу и днём, а тебе-то завтра опять эта адская работа в поле. Спи, спи, Мишенька, спи, мой родной, мой дорогой, мой желанный.

Последних слов Мишка почти не слышал... Он уснул как убитый, обняв на груди другую её руку.

Галя тихонько высвободила руку из-под Мишкиной шеи, поцеловав его в чуб, в губы, в грудь, на носочках пошла за спичками.

Ей хотелось посмотреть на него сонного. Коробку спичек сожгла она, рассматривая Мишку с ног до головы, расстегнула рубашку, целовала в грудь, в лоб, в щёки. Лежала щекой на его груди, обвив руками вокруг пояса: «Ну как бы увезти тебя с собой? А как папа радовался бы, да и мама, что у меня такой муж, да ещё казак! Говорил же папа, провожая сюда: «Поезжай, Галечка, не раскаешься, поправишься хорошо. Увидишь там оренбургских казаков, с ними мне доводилось кутить в Вышнем Волочке. Бесподобные весельчаки, самоотверженные люди и ужасные выпивохи».

Перед глазами появилась мать, ласково кивая Гале, поздравляя с законным браком... И целовала Мишку, как сына. Галя спала, убаюканная волнами видений.

Вдруг голова Гали упала на постель. Из-под неё выскочил, как ужаленный, Мишка.

— Галка! Разиня ты эдакая! Караульщик, хрен тебе дать, дрыхнешь!.. Во дворе-то — утро. Как теперь пойду? Дома меня ищут, на жнитво ехать, — суетился Мишка. Схватил в темноте сапог — не лезет что-то — тьфу, чёрт, не на эту ногу, — сопел Мишка, как паровоз. Хохочущая Галя зажгла свет, бегала вокруг него, теребила за нос, за уши,

дёргала за руку, мешала одеваться. Вместо Мишкиной рубашки подала свою.

— Мишенька, Мишенька! Брюки-то ты забыл надеть!

Мишка сбросил почти надевший сапог, схватил брюки, сунул ногу, она попала в карман. Мишка рассмеялся и тут же нахмурился: «Надёжка, та никогда не проспит, а эта, зараза, растянулась и дрыхнет».

Галя хохотала, рассмешила и Мишку. Он на бегу поцеловал её. Галя вышла за ним, шутила: «Мишка, вернись, полежи ещё немного...»

Мишка молча отмахнулся, погрозил кулаком, побежал на задний двор. Через минуту затрепал плетень, треснул сломанный кол, и всё стихло.

Галя вздохнула и вошла в комнату, там было тихо и пусто. На спинке стула висел забытый казачий ремень. Галя схватила его, судорожно сжала в руках и как бы в каком-то удовлетворении тяжело села на стул. Улыбаясь, как в лицо ребёнку, смотрела она на ремень, разложенный на коленях. И поцеловав его, гладила мягкими ладонями. Ей стало легче и не так грустно.

4

Мишкина знакомая станичная девушка Надёжка не могла понять, почему Мишка не появляется на улице уже около месяца. Она надоела Паньке просьбами, чтобы тот сходил к Веренцовым, узнал в чём дело. Панька всякий

раз возвращался один и отрывисто докладывал: «Мишку чёрт с квасом съел. В семье тоже не знают, где он бывает».

— В монахи, штоль, записался, язви ево, иль на нёбу улетел на метёлке. В земле ковыряла, там нет. Ну как сдох, ну как сдох, — сетовала Надёжка. — Ну пумаю, ну пумаю!

Перепрыгнув через плетень, Мишка вышел с вдовьего двора на другую улицу, по ней уже гнали в табун коров. Из-за угла выходили коровы Надёжкиной семьи. Как заяц, увидевший свору борзых, Мишка заметался из стороны в сторону: «Наверное, Надёжка гонит коров, — подумал он. — Куда деваться? Шмыгнуть в какие-нибудь ворота — все дворы незнакомые, а во дворах хозяйева перекликаются».

Тем временем из-за угла вышла последняя корова. «Сейчас появится Надёжка», — думал Мишка. За коровами вышла Надёжкина сестра. Мишка облегчённо вздохнул, как будто сбросил непосильный груз. Поравнявшись с Мишкой, она насмешливо взглянула и вопросительно улыбнулась. Мишка покраснел, как зарево: «Как бы не догадалась да Надёжке не сказала, язви её». Надёжкина сестра вмиг догадалась, что Мишка с улицы возвращается домой, но Надёжке не сказала. Все Надёжкины семейные Мишку любили и зла ему не желали.

Поить коней гнал работник Шарип. Мишка встретил его в

воротах и шутливо выдернул кнут из его рук.

— Давай я погоню, — сказал он, — а ты иди скорее собирай всё, что ещё осталось не уложенного на подводы. Скоро ещё двое придут, нанятые на уборку.

Шарип осклабился, ткнул кнутовищем Мишке в живот.

— А гиде пояси? — спросил он. Мишка махнул рукой, погнал коней на Урал, поить. Всё обошлось.

Степан Андреевич с похмелья спал долго, чуть не до восхода солнца. Вчера он собирался выехать на жнитво до зари, но его никто не разбудил, и сегодня он не в духе.

— Люди давно все уехали, а нас всё черти давят. Теперь бы надо уж там быть. Эта кукла тоже дрыхла, разиня чёртова, — сетовал он на жену. — Хоть бы ты, Шарипка, разбудил, уж если нет хороших хозяев ни одного чёрта. Мишка, гы, да Мишку самого с семи собаками надо искать. Ему наплевать, что без остатка сыпется... Ему бы только бегать до полночи, а дома пусть всё пропадёт.

Мишка улыбался, как подсолнечник, моргал Шарипке и думал: «Ни хрена, Степан Андреевич, наши с тобой бабы не стоят. Моя тоже проспала, проклятая. Нечего сказать: и свекровь, и сноха дрыхли до свиного визга, — улыбался он, вспоминая проведённую ночь. — Давай, Стёпа, прогоним их обоих и одну Надёжку на двоих возьмём, она нас будет будить, — хмыкал про себя

Мишка... — Не расстраивайся, толку мало, лучше возьми Галю в снохи, она всех будить будет... к обеду. Ах, Галечка, Галечка, нет бы собрать меня толком, а она хохочет да бегаёт вокруг. Ах ты, Галюнька!»

Наскоро позавтракали, вышли запрягать. Потом снова зашли, сели все в ряд на скамейку, посидели несколько секунд, враз встали, помолились на иконы, где была зажжена лампада, а по бокам — две большие свечки, и вышли во двор.

Восемь рабочих коней и четыре пары быков, запряжённые в разные упряжки, вывел Веренцов на жнитво. Его обоз растянулся на квартал. Сзади шли две жатвенные машины.

Мишку отец посадил почему-то с собой, на переднюю подводу. Может быть, хотел с ним о чём-то поговорить, посоветоваться по хозяйственным делам? Это он делал часто. Мишка лёг на бок позади отца. Обоз потянулся на выезд из станицы. Из каждой улицы выезжали таборы отдельных хозяйств: на конях, на быках. Собаки налетали друг на друга, катаясь клубками, поднимая пыль. Дороги шли вместе, за станицей расходились врозь и устремлялись на разные полевые участки.

Мишка уже давно заметил Анюшку, но вида не подавал. Анюшка ехала с братом на одной повозке. Брат её был хорошим другом Мишки. До Надёжки Анюшка была постоянной Мишкиной

знакомой, а теперь, когда Мишка переметнулся к Надёжке, Анюшка не давала ему прохода. Он от неё прятался, а если спрятаться не удавалось, не обижал, сидел с ней у двора.

Анюшка знала, что Мишка гуляет с Надёжкой, но покорно стояла у ворот своего дома и ждала, когда Мишка пойдёт мимо. Не выдавала своей ревности Анюшка и ничего не говорила о Надёжке, чтобы он не обиделся. Мишке это нравилось, и Анюшку он просто жалел. Её-то и увидел сейчас он. «Как бы не подбежала сюда с каким-нибудь «делом», у них ведь, у этих баб, всегда какое-нибудь дело да есть». Не успел Мишка подумать, как с Анюшкиной подводы раздалось: «Миша! Миша! Ми-ша!» Он, услышав её сразу, думал, что она перестанет, но Анюшка кричала уже в третий раз. Мишка взглянул и погрозил ей кулаком, она ответила ему тем же.

Степан Андреевич услышал третий возглас Анюшки, а когда Мишка повернулся и погрозил, Степан Андреевич огрел Мишку кнутом вдоль бока и заворчал про себя что-то.

— Я-то при чём! Вон её иди хлестни... не раскаешься, — съязвил Мишка. Отец не расслышал последнего слова. Он отпускал какие-то беззлобные ругательства то ли по адресу Мишки, то ли Анюшки, то ли просто так, в воздух, по привычке.

Анюшкин брат сунул сестру в бок:

— Ну что разоралась, дура? Вот дядя Степан услышит, так распишет тебе кнутом мягкое место, да и Миньку-то подведёшь, и тому ввалит кнута!

Анюшка хохотала, уткнувшись лицом в плечо брата. Она уже видела, как Степан Андреевич стеганул Мишку. Она думала: «Покрепче, покрепче стегани его, дядя Степан, это ему за сегодняшнюю ночь». Ей уже передали, что Мишка пришёл с улицы утром...

5

Сегодня на жнитво выехали все. Станица снова опустела. В поле Мишка загрустил. Не прогоняли скуку ни работа, ни общество Шарипки, отца и рабочих. Вечером приходили на стан поздно, в темноте. Наскоро ужинали и ложились спать, чтобы подняться до восхода. Сон сражал всех, как насмерть, но Мишка долго лежал на сене лицом вверх и смотрел на звёзды — сон не шёл к нему. «Ну что же мне делать? — думал он, — уж не жениться ли на Гале? Да нет, нельзя, отец не согласится, он скажет: «Ты что же это, сукин сын, выдумал? Берёшь эту цацу, чтобы только спать с нею, а работать кто тебе будет? Ведь ты с ней в нищие выйдешь, так твою...» Да и пойдёт, и пойдёт меня чистить. Вот чёрт её поднёс тогда. Свои девчата уж как-то и не тянут, а эта, ну как приколдовала, чем чаще ходишь, тем больше тянет, ах растак её, — ругался Мишка и повернулся

на другой бок. — Если поехать с ней в Калугу... Как она говорит: Калуга — город хороший, отец у неё богатый, она одна дочь у отца. Там будет весело. Ох, едва ли там веселее, чем здесь. Уезжай туда, а там и казаков-то не увидишь ни одного. Да заставят ещё казачью фуражку снять, а надеть мешанскую шапку, а то ещё хуже — кепку, отец приедет туда, да эту кепку-то вместе с головой и оторвёт... Фу. Да-а-а-а, а на службу-то, на службу будут брать? Гы-ы, да ведь там прямо в пехоту попадёшь и будешь ходить с винтовкой на плече, «Чубарики-чубчики» петь. А здесь-то и конь, как вихрь, и седло с набором, и пашка новенькая, блестит, как зеркало, и пика... Нет, Галечка, хорошая ты, лучше наших всех, говорить нечего, какая-то вроде как сладкая. Вот я до сих пор всё ещё и прикоснуться к тебе как следует боюсь.

Вот жалко, я теперь Митю, наверное, не увижу, уедет, а то бы с ним посоветоваться. Он бы всё сделал... Да ведь вот беда, она, наверное, работать ничего не умеет: ни хлеб печь, ни коров доить, ни телят поить. Нет, уж, видно, проводить её поскорее...

Вот если бы можно было здесь взять Галю и никуда с ней не ездить, это бы хорошо, но ведь отец не согласится и люди задразнят. Эх, Галя, Галюня, чёрт тебя поднёс, заразу. До тебя я хозяином в станице был — над всеми парнями и девками, да как заиграю на гармошке... Дух захватывает!

А теперь и гармошку в руки не беру, её, наверное, мухи всю заседели, не знаю, что на улице делается... Только, знаю, прячусь от всех, да к тебе. Вот дурак, разиня. Казачью фуражку с голубым околышем позорю... Тьфу, мать твою так... Жаль, что Гнедой сегодня в машине ходил, он бы выручил, сейчас же у неё был бы. Завтра не запрягу Гнедого, договорюсь с ребятами, а главное, с Шарипом, и ускачу, как только стемнеет...» — с этим решением Мишка уснул.

Днём, во время обеда Мишка пошёл к Паньке, к его стану в версте от Веренцовых. Панька лежал на сене, животом кверху, курил папироску и гладил ладонями живот под рубашкой. Увидев друга, Панька вскочил.

— Ну ты, соловей болотный, — выругавшись, обратился Панька к другу. — Надёжка мне злу тоску нагнала, всё пристаёт, чтобы я ей сказал, куда ты пропадаешь по вечерам, а я и сам не знаю. Ты что мне-то не скажешь?

— Да никуда я не хожу, — задумчиво, растягивая слова, ответил Мишка. — Ты сам знаешь, какой у нас отец, он ни себе, ни нам не даёт покоя, гоняет, как зайцев: за лесом, за сеном, за дровами, да мало ли зачем. Ну а у тебя как дела?

— У-у-у-у... и не говори, — махнул рукой Панька, — в воскресенье и домой не ездил, и ещё воскресенья два не поеду. Верка проходу не даёт, коровой ревёт. Держит себя за брюхо и скулит:

«Што будем делать, што будем делать?» — «Делай, говорю, што-нибудь, ступай к бабке Графене, я заплачу потом. Дам с воз пшеницы, а то и больше. Бегала она там куда-то, но у неё ничего не вышло...

6

А Верка бегала в это время со двора во двор: не поможет ли кто-нибудь выпнать болезнь, давно уже привязавшуюся к ней...

Когда чёрными змеями поползли слухи о том, что Верку часто видят ночами с Панькой, тётка Графена с улыбкой потёрла ладони: «Врёшь, придёшь ко мне, никуда не денешься. А заплатить-то тебе есть чем, да и у Паньки амбары не хворали...»

С тех пор прошло три месяца. Верке ничего не оставалось делать, как идти к Графене. Она прознала, что тётка Графена с женщинами идёт в лес за ягодами. Верка тут же поспешила втереться в их компанию. А матери сказала, что уж очень хорошие ягоды нашли бабы в лесу и её зовут с собой. И мать Верку отпустила.

В лесу, когда бабы разошлись, Верка боком-боком старалась приблизиться к Графене. Она косила глаза в сторону баб, как бы не услышали её разговора с Графеной. Наконец та зашла за куст, Верка тут как тут. Она стала говорить, путая слова, сбиваясь с толка:

— Тётя Графена, а тётя Графена, я... давно... бегаю... всё хочю

тебя увидеть да поговорить. — Графена насторожилась. — У меня што-то давно... нет ничего... А вот тута, — большим пальцем потолкала она в живот ниже пояса... чево-то...

— Ну-ну, знаю, знаю, — перебила её Графена, — приходи ко мне вечером, сделаю што-нибудь, — она многозначительно нахмурила брови.

Верка ошалела от радости, чуть не поцеловала Графену, высыпала ей все ягоды из своей корзины. На возражение Графены божилась, что ягоды ей не нужны, а если и нужны, то она себе ещё наберёт. Она готова была идти прямо к Графене. Она слышала, что Графена в этих случаях хорошо помогает...

А вечером Графена сказала, что лечить уже поздно, болезнь «пустила глубокие корни». Теперь одно спасение — подтягивать потуже пояс юбки и всё...

И подтягивала Верка свой пояс всё туже и туже с каждым днём... А после говорили, что Верка при помощи Графены зарыла пятимесячного выкидыша в яру, около кладбищ. На кладбище-то, мол, нельзя, он не крещёный.

— Настряпали мы с Веркой, — говорил Панька, — хоть глаза домой не показывай...

7

Уходя от Паньки, Мишка ни о себе, ни о Гале другу не сказал. Галя, так или иначе, должна ехать домой, он ехать не может, его никто не пустит. Он

поскучает-поскучает да перестанет. А Паньке сказать, он расскажет девочатам, те после засмеют.

Тяжёлый камень остался на Мишкином сердце. Ещё тяжелее он казался от того, что грусть Мишка испытывал первый раз в жизни...

Галя несколько вечеров выходила к воротам, где подолгу просиживала напрасно, ожидая Мишку.

Сегодня Галя, раздетая для сна, сидела на подоконнике и прислушивалась к звукам вечерней жизни. Иногда она бросалась то к двери, то к окну, но слух её обманывал. Несколько дней она не запирала на ночь дверь со двора: «Придёт, когда буду спать, а дверь окажется закрытой, и уйдёт обратно». Сейчас она слушала, как где-то недалеко тихо пели девушки, чудом не взятые в поле. Гармошки не слышно нигде. Если и приезжал кто-то из парней случайно по делу с поля, то ходил по улице незамеченным и на гармошке играть стыдился, чтобы не сказали: «Страда идёт, а он, лодырь, дома».

Галя уже знала Мишкину игру на гармошке, которая всегда доводила её до слёз.

«Где-то играет, играет Мишенька, а сюда не идёт. Уж не обиделся ли на что?» — шептала она сквозь слёзы. Девушки пели:

*Мил послал другую сватать,
Я в постели стала плакать.
За плохова пришли сватать,
Я лежала — не спала.*

*«Вставай, дочка, —
мать будила, —
Я просватала тебя».*

*На горе ковыль цветёт,
Не жди, милый не придёт...*

С другого конца еле слышно доносилось:

*Чудный месяц плывёт
над рекой,
Всё объято ночной тишиной.
Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый
мой.*

*Только видеть тебя
бесконечно,
Любоваться твоей
красотой.*

*Но, увы, коротки наши
встречи,
Ты спешишь на свиданье
с другой...*

Песнями девушки довели Галю до слёз, даже рыданий. В комнате было душно и жарко, она сбросила с себя всё и уснула на мокрой от слёз подушке.

Уезжая из станицы, Дмитрий Веренцов сидел в два часа ночи у отца. Они допивали последнюю полбутылку. Дмитрий просил отца привезти ему во двор с поля воз сена, как-нибудь, между делами. Степан Андреевич обещал послать подводу, ночью перебросить это сено.

Когда Мишка пришёл от Паньки, Шарип сказал, что хозяин посылает его наложить воз сена и привезти на стан. Для чего, Шарип не знал. К вечеру воз сена стоял на стану.

С загадочной улыбкой при испытующем взгляде Степан Андреевич подошёл к сыну:

— Михаил, домой ехать хочешь?

Мишка больше от радости, чем от неожиданного комизма вопроса отца отвернулся и расхохотался. Потом буркнул что-то непонятное от стеснения.

— Ужинай и запрягай, отвези Мите этот воз во двор, — сказал отец.

Предупреждать о том, что вернуться нужно сейчас же, отец не посчитал нужным.

Мишка ужинать не стал — не хотелось. Запряг коня и, отъехав за бугор, поехал с возом рысью. Сноха встретила Мишку, посадила за стол ужинать.

— Покушаешь, Мишенька, и ляг, усни, а я с ребятами пока сено складу, а потом разбуду тебя. Ты там на жнитве замучился.

Мишка рассмеялся.

— Спасибо, сестричка! — обрадовался он тому, что его не заставят складывать сено. — Но спать не хочу. Я пока схожу в одно место, по своим делам, ладно? А? — спросил Мишка.

— Ох, Миша, не пробудь, смотри, на этих делах до утра, а то и мне тогда попадёт за то, что отпустила тебя. Ну, ступай, — согласилась сноха.

Мишка подошёл к знакомым воротам — никого нет, тихонько постучал в ставень — нет ответа, постучал громче — то же. Мишка пошёл домой, на полпути остановился: «А что, если тихонько

пройти в ворота, зайти с крыльца и постучать в дверь?»

Он вернулся. Ворота оказались закрыты, он кое-как перелез через высокий забор, прошёл в сени, до избной двери. Не закрыта.

Мишка зажгёт спичку, переступил порог и бросил её, обжёгшись. Он захватил сразу кучу спичек. Сквозь их вспышку из глубины комнаты, от кровати длинно уколоч радужный лучик её колечка. По большой подушке разметались волосы. Голова чуть откинута. И сон не успел стереть какого-то детского выражения обиды на лице. Цветущая, полногрудая, порозовевшая, Галя лежала почти на боку. Полные белые ноги слегка подогнуты. Мерно подымалась и опускалась грудь. Подчиняясь её дыханию, подымались и опускались золотой браслет на одной руке и два колечка — на другой.

Мишка опять обжёг пальцы и попятился назад — он не хотел будить её сейчас. Тихонько вышел на крыльцо. С заднего двора на него бежал хозяин с вилами и криком: «Кто там ходит, протакую мать...»

Мишка рванул с крыльца в один прыжок до забора, а забор перемахнул, как будто и не задев за него. Через несколько секунд хозяин открыл ворота и пустился за Мишкой по улице. Мишка, как заяц, путал следы, домой бежать было нельзя. Он прыгнул через чей-то плетень и скрылся в огородах...

— Барыня, барыня! К вам лез какой-то вор! Вот сейчас убежал, — разбудил Галю хозяин. — Я его увидел, когда он выходил на крыльцо, и побежал за вилами. Ну, ладно удрал, а то бы я его посадил на рожки. Посмотрите, барыня, не украл ли что?

Галя не подала виду, что знает вора...

Мишке ничего не оставалось делать, как не солоно хлебавши отправиться домой.

Елена Степановна испугалась, спросила: «Миша, что случилось? Почему ты один и пешком?»

Мишка сказал, что привозил сено снохе. А утром рано попросил разбудить его. Поужинав, Мишка лёг, но сон не шёл к нему. Какой там сон! Галя стояла перед глазами такая, какой он только что видел её. Его кидало то в жар, то в холод. Он проклинал не в меру ретивого хозяина дома.

Приехав на стан чуть свет, Мишка сказал Шарипу, чтобы сегодня дал отдых Гнедому, не запрыгал его в жнейку, а вечером, как только стемнело, сел на него и стрелой помчался в станицу.

У Гали окно было открыто, затаясь, она ждала его.

Как только Мишка подошёл, она протянула ему обе руки. Повиснув друг на друге, они кружили по комнате, как помешанные. Галя сквозь слёзы рассказывала о своих переживаниях...

Нахохотавшись досыта над вчерашним, Галя стала просить

Мишку взять её с собой на жнитво.

— Если мягкие места чешутся, то ладно, возьму. У отца кнут хороший, сам плёл, — спокойно сказал Мишка.

— А разве очень сердитый твой отец? — опасливо спросила Галя, заглядывая в глаза.

— Да нисколько не сердитый, но ведь если дать нам волю, то мы или кого-нибудь привезём на работу да будем там потешаться, не работать, или сами уедем на неделю. Так и хлеб останется на корню в зиму.

— Ну, Миша, тогда покажи мне поля, прокати меня куда-нибудь.

— Это можно, — сказал Мишка. — В воскресенье я поеду на бахчи за дынями и арбузами и тебя возьму с собой.

— Как я рада, как я рада, — прыгала Галя вокруг Мишки, — Ведь у нас в Калуге нет бахчей, там не растут дыни и арбузы.

— А сейчас я лягу, караульщик у меня есть хороший, не боюсь, что просплю.

Влюблённые смеялись. Галя закрывала ему руками рот, запрещала говорить о прошлой своей оплошности и обещала сегодня не спать: не гасить лампу, сидеть рядом с Мишкой и держать часики в руках.

— Ну смотри, Галя, ты на самом деле не подведи меня, — предостерегал Мишка, идя к кровати. Галя пошла вслед за ним «прощаться».

На стан Мишка приехал вовремя. Там все уже были на ногах, подгоняли скот — запрягать в машины. Мишка сейчас же взял вилы и пошёл к жнейке, чтобы занять самое трудное место — сбрасывать вилами хлеб. Сегодня он был в хорошем расположении духа, а память о бессонной ночи отгоняла усталость. Его позвал к себе отец. Мишка насторожился и направился к нему быстрыми шагами, думая: «Как бы не ошарашил чем, если узнал что-то». Но отец ласково взглянул сыну в глаза, положил руку на голову, сказал:

— Ты, Миша, лезь в балаган, усни часок-другой, хлеб сваливать Шарип сядет.

Через несколько минут обрадовавшийся Мишка спал как убитый.

Через час Степану Андреевичу нужно было пойти на стан по делу. Он зашёл в балаган, понюхал воздух: «Што за чёрт, всё время от него ташшит и ташшит каким-то дикалоном альбо¹⁵ духами? Инды в носу вертит! Уж не подцепил ли какую барыню, холера». Мишка лежал на спине, раскинув руки. Его свежее матовое лицо, волнистые тёмно-русые волосы, мускулистая грудь и плечи притянули внимание отца. Степан Андреевич остановился, посмотрел: «Хорош всё-таки сынок, язви ево, не наглядисься. И джигитовать — собаку съел, и пашкой рубит неплохо. Пусть поспит, жалко будить».

Степан Андреевич вышел из балагана, продолжая думать о сыне: «Ну вот по бабам-то, по бабам, зараза, бегают, у-у-у, холера».

Вернулся к балагану, чтобы разбудить. Дошёл до двери, постоял, махнул рукой, повернулся и пошёл к машинам...

Мишка суетился, собирался на бахчи. Предупреждённая вечером, Галя должна была ждать за станицей. Степан Андреевич, отправляясь к обедне, увидел на дворе Мишку с пологом в руках, им он собирался закрывать Галю, если встретится кто по дороге. Отец спросил:

— Куда это ты полог-то берёшь? На што он тебе?

— Да я им самые хорошие дыни накрою. А то парни встретятся: «Дай, да дай». Не дать как-то неудобно, — подморгнул сам себе Мишка.

Степан Андреевич прошёл...

За станицей, в полверсте около дороги, которую показал вчера Мишка Гале, стоял раскрытый зонтик, за ним лежала его хозяйка.

Мишка подъехал к зонтику, смеясь, пригласил:

— Ну, впрыгивай скорее, толстушка! Ещё не подсаживать ли заставишь? Если будем подсаживаться, то и останемся двое на дороге, коню-то только вслед посмотрим, он ждать не будет.

Смеющаяся Галя села. Поехали. Она никак не могла устроиться удобно.

В тарантасе сидели с вытянутыми ногами, на разостланном пологие с запасом с Галиного края на случай, если нужно будет лечь и закрыться.

Ехали и разговаривали, шутили, играли, как дети.

Никогда Галя не испытывала такой полной жизни, как сейчас. Каждый кустик, даже пожелтевший, а не только зелёной травки, каждая вылетевшая птичка вызывали восторг. Галя сваливает Мишку на спину, он хохочет, сваливает её. Она не боится и не стесняется Мишки. Она изучила его, искусно руководит им. Что впереди, будет видно, но сейчас самоуверенная радость так и рвётся наружу, так легко на душе, как будто и солнце-то иначе светит-греет.

За недолгую жизнь с мужем Галя не ощущала такого даже в медовый месяц. То ли не созрела к тому времени женственная способность её всё отдать любимому и, может быть, всё взять, то ли вызывала приторность разрешённости любви, уверенной в чувстве другого. Здесь всё было не так. И запретные, урывками, встречи, и боязнь потерять, и ревнивые подозрения. Гале казалось, что Мишка порой равнодушен, недостаточно прикован к ней, а она даже не могла схитрить, что любит другого. Здесь не на кого указать, и Мишка всё равно не поверит. «Утащить бы его в Калугу, вот там ревновал бы, не спускал с меня глаз. — Но тут же возбуждение сменялось печалью. — Он

ведь такой, что может сесть на поезд и поминай как звали... И ключа к нему не подберёшь, обыкновенные не подходят, ни один. Зачем я пошла тогда в рощу, когда увидела его впервые? Ну, полюбовалась бы, и только. Так вот нет! Этого мало, решила добиться его. Вот и добилась. А если бы не это, он теперь, может быть, ходил бы к какой-нибудь девушке... Нет, нет, я не раскаиваюсь, он должен быть только моим, больше ничьим. Не могу представить, что он где-то обнял и поцеловал другую. Я уверена, он этого не сделает, он только мой. Да и подзреть его ещё рано, он так молод, так молод, ох, Боже мой, Боже мой...»

Всё это передумывалось в одинокие бессонницы, прежде чем всё-таки заснуть, убедив себя очередной иллюзией. Сны снились непонятные своими страшными картинками...

Как бы твёрдо ни решила она прекратить или хотя бы ослабить влечение к Мишке, у неё ничего не получалось. Она была уже бессильна и словно плыла большой рекой в половодье на льдине далеко от обоих берегов.

Нет, этому может помешать только стихия, стечение обстоятельств, чужая воля или внезапное разочарование, отворачивание к любимому.

Что её ожидало впереди?

— Будет видно... — повторяла она. А сейчас радуется. Мишка с ней, а она с ним, и больше ничего не нужно!

Она бросается на него, сваливает на спину, целует. Рыжий подозрительно и лениво оглядывается, то прижимает, то ставит уши и слегка фыркает.

— Вот, смотри, Галечка, Рыжий тоже за меня горой.

Вдали показалась подвода.

— Ну, Галина Борисовна, кто-то едет навстречу. Ложись и закрывайся, — полушутя-полусерьёзно сказал Мишка.

Галя легла на спину, головой на приготовленный тулуп. Она тряслась от хохота. От сотрясения тарантаса ходуном ходило под пологом пышное тело.

Встретившийся сельчанин в недоумении посмотрел на необыкновенный Мишкин груз, проехал, ничего не спросил. Впереди показалась ещё подвода.

— Лежи, Галя, не вставай, кто-то ещё едет, — предупредил Мишка. Встречный быстро продвигался. Галя молчала.

— Тр-р-р-р! — закричал, подъехавший вплотную и выпрыгнувший из своей телеги Панька.

— Ты што же, распротакая-сякая, я еду домой, а ты из дома? — выругался приятель и подошёл к Мишке. Тот смутился, покраснел, в упор смотрел на друга.

— Да мы... да я... на бахчи. Скоро вернусь, тороплюсь к отходу обедни... Ну, я поеду скорее... — путался Мишка.

— Обожди, чево торопиться? Ну как у тебя дела-то? А это чево везёшь под пологом? — И не дожидаясь ответа, Панька за спиной у Мишки лапнул пятернёй,

пощупал сквозь полог необыкновенный, мягкий Мишкин груз.

Галя как-то по-пороссячи тихонько визгнула и повернулась на бок. Мишка резко дёрнул вожжами, рысью поскакал мимо Паньки, задев ему за ногу задней осью. С хохотом упал боком на Галю. Вслед грозил кнутом, кричал Панька:

— Я вот тебе, чертяка... ноги чуть не поломал!

Мишка ускакал. Панька бурдел про себя: «Ну кого же он здесь возит? Не иначе — Надежку. Ну я её, заразу, сегодня проберу, скажу — скулишь: «Не вижу ево уж больше месяца», а сама инды под полог забралась...»

— Вставай, Галя, теперь не ляжешь, хоть пускай сам царь встретится.

Галя встала. Вспотевшая, смеющаяся, надела панаму.

— Ну почему не лягу? Лягу, если нужно будет, всё, что захочешь — сделаю.

После часа езды они выехали на высокую гору, с которой, как на ладони, открылся Оренбург.

9

Как вечно дышащий организм, сияющий златоглавыми церквями, многотонный и многоголосый звон которых щемил сердце, Оренбург сообщал нечто радостное, сонливое, манящее. В иной чуткой душе мог вызвать слёзы — чтобы потушить страсти и обиды, излить жалость и соблезнование или чрезмерную радость.

Остановившиеся на горе Михаил Веренцов и Галина Мазорцева стояли около коня. Равнина из-под их ног уходила к подножью Оренбурга и впивалась острым ребром в железно-дорожную дамбу, вымощенную белым камнем-плитняком, дамба струилась из-под стен Оренбурга, бежала на Ташкент. За ней голубой лентой смыкалась с горизонтом линия Урала. Левее её в дымке дрожали станица Павловская, а ещё левее на юг — немецкие хутора.

Оренбург, поднявшийся на куполообразную гору, открывал глазу все свои храмы, большие здания и улицы, ровными чёрными рубцами лёгшие вдоль и поперёк огромного пригорода — Форштадта. Главы многих церквей блистали золотом.

Отметивший вершину горы самый высокий в городе храм женского монастыря произвёл на Галю непонятное впечатление. Она несколько раз переспросила Мишку, что это за церковь такой высоты. А когда он сказал об огромном кладбище около монастыря, Галя словно ржавым гвоздём кольнуло в сердце. Она громко вздохнула — вздохом ещё незнакомого ей предчувствия — и, не отдавая себе отчёта, попросила:

— Миша, когда я умру, схорони меня на этом кладбище... — и рассмеялась, вытирая глаза.

Он не ответил, приняв это за неуместную шутку.

Не хотелось уходить отсюда.

Во все стороны под уклон горы бежали хлебные поля, одни желтели жнивами или несжатой пшеницей, другие зеленели просом, бахчами. По дорогам в Оренбург и Киргизию тянулись нескончаемые караваны верблюдов с вьюками или впряжённых в телеги.

Прокофий давно заметил лошадей Веренцовых, но не мог понять, кто сидит с Мишкой. Он приложил руку ко лбу и стоял, дожидаясь.

— Брось, дядя Прокофий, смотреть, всё равно не узнаешь, — сказал Мишка и остановил коня.

Чтобы подойти к Мишке, Прокофий описал большой круг, обойдя спрыгнувшую с тарантаса барыню, часто моргая, косил глаза в её сторону.

— Здравствуйте, бабушка! — звонко, серебристо поздоровалась с ним Галя.

Прокофий обтёр ладони о потерявшие цвет штаны, подошёл, подал рассмеявшейся Гале руку. Мишка тихонько хохотал, стоя около коня.

— Здравствуй, барыня, здравствуй, матушка! Вот у меня уж в балагане-то хорошо, холодок... Идите туда с Мишей, ведь у нас Миша-то не казак, а просто енерал.

Улыбаясь, Галя пошла к балагану. Прокофий семенил к Мишке.

— Михайло, это кто же, жена альбо кто? Уж больно хороша, язвы её, — тихо домогался Прокофий.

Галя, всё слыша, смеялась.

— Нет, дядя Прокофий, просто знакомая дачница, попросилась прокатить и всё.

— Плохо, — поморщился Прокофий, — уж больно она тебе под масть, уж больно хорошая, ну как хвархворовая вся дочи-ста, кляп ей в дыхало. От неё одним дикалоном наисся, индо в нос шибаат. Ты женись на ней, как-нибудь, Михайла. Мне и то уж больно хочетца, чтобы ты женился на ней...

Пока они собирали дыни и арбузы, Галя бегала по бахчам, ловила кузнечиков.

Прокофий несколько раз звал её к себе и Мишке, но Гале вдруг захотелось побыть одной. Она с восхищением рассматривала, как растут дыни, арбузы, тыквы, подсолнухи, пожелтевшие огурцы.

Прокофий энергично уговаривал гостей остаться до вечера, но Мишка и Галя распрощались с ним.

Прокофий просил барыню, сложив руки на грудь:

— Барыня, матушка моя, красивица бесценная, ты уж выдь за Мишку-то замуж, как-нибудь, поскорей, а то и мне-то терпенья нет ждать вас, инда поджилки трясутца, хочетца, чтобы вы женились поскорей. Ведь Мишка-то у нас, холера, больно хороший, язви его. За ним вон наши девки просто сдыхают. Дочь вон эфтова...

— Ну ладно, ладно, дядя Прокофий, — сказал Мишка, — хватит, до свиданья.

Прокофий замолчал. Галя, еле отдышавшаяся от смеха, схватила за вожжу.

— Обожди, Миша. Чья, чья дочь, дяденька? Скажите, чья?

— Да шут их знат, — увернулся от вопроса старик, метнув взгляд на Мишку, — оне все, аж голяшки мокры, бегают за ним.

— Ну поедем поскорее, Галя, а то он договорится до хорошего.

Прокофий долго смотрел вслед редким гостям. Вернулся к балагану, сел. Вдруг соскочил, стал кричать Веренцову.

Еле услышавший Мишка остановился. Прокофий бежал, как молодой, кричал:

— Миша, забеги там, ради бога, к нам, скажи моей старухе, чтобы она пришла ко мне и принесла табаку, — погладил бороду и вернулся...

Мишка хохотал. Галя покраснела и стыдилась разговаривать...

Перед станицей Галя сошла с тарантаса и, попрощавшись, пошла в сторону, чтобы зайти в улицу с другой стороны, сказав Мишке:

— Не опаздывай, буду очень ждать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Панька шёпотом ругал проснувшегося Мишку. Он на корточках сидел у изголовья друга. Мишка лежал на спине, потягивался и посмеивался.

— Ну, Анютку дак Анютку вѣз под пологом, што особенного, так бы и сказал, а то чухнул да ускал, и за ногу задел осью, чуть ногу не сломал. Я думал, ты Надѣжку вѣз, а стал ей говорить, так она и знать ничего не знает... Ну айда, пойдѣм скорее.

Мишка умылся. Взял в руки гармошку.

Группа девушек сидела у ворот дома, почти напротив Галиной квартиры. Парни подошли туда, там была и Надѣжка.

Из комнаты Галя услышала голоса молодѣжи, быстро оделась, вышла ко двору, села на скамейку. Ей хотелось получше рассмотреть Надѣжку, о которой рассказывала ей хозяйка. Надѣжка, мол, не дурна собой, ну така бойка, така бойка, на одной ноге семь дыр вертит. Ну, солдат, да и всё...

Гале неудержимо захотелось посмотреть эту казачку-«солдата». Интересна ей была и вся молодѣжь этих мест. Парней и девушек собралось много. Молодѣжь веселилась, удивляя городскую барышню вольными, развязными взаимоотношениями и жестами.

Сердившаяся Надѣжка не выдержала, отозвала Мишку в сторону, попятилась шага на два, взяла руки в бока, часто моргая глазами:

— Да ты што ж, собака, целыми возами зачал баб возить по степям, инды полог чуть-чуть сошпиливашь! Всё говоришь, отец не пускат на улицу, а сам бегаш, как кобель по мясным рядам.

Говори, кто лежал под пологом, а то сейчас вот этим камнем ошарашу.

— Если бы я так на тебя рассердился, то ей-богу, не стал бы с тобой разговаривать. Ну что тебе стоит послать меня ко всем анчуткам и гулять вон с Васькой. Он ведь за тобой все сапоги износил, бегаёт, и парень он хороший, — уговаривал Мишка.

— Да не люблю я Ваську, подь ты с ним к чёрту, — на глазах у Надѣжки блестели слѣзы.

— Ну ладно, разбираться будем после, а здесь улица и день, люди видят, над тобой же будут смеяться. Да и зачем ты меня ругаешь? Я ведь тебе не муж, и ты мне не жена и не пристяжная, и ты, и я с кем хотим, с тем и гуляем. А баб, говоришь, возами возил, то никаких баб я не возил, это над тобой Павлушка подсмеялся, а ты поверила, он уж говорил мне об этом. Вот, говорит, я Надѣжку разыграл. Эй, Паня, пойди сюда, — закричал он другу. — Вот ты её разыграл, а она меня чуть не избилла.

Панька поспешил с выручкой.

— От-та дура, я посмеялся, а ты поверила, зараза. Тьфу, ну хоть ничего им не говори, всё равно придумают.

Успокоенная Надѣжка, улыбаясь, побежала к девушкам. Панька и Мишка о чём-то говорили, рассмеялись и вернулись к молодѣжи.

Обрадованная Надѣжка не отходила от Мишки, а он жался от неё, чувствуя на себе взгляд Гали.

Наконец Мишка предложил пойти всем на другую улицу.

Девушки, а за ними и парни с хохотом ушли за ближайший угол.

2

Подходило время отъезда Гали домой, в Калугу.

Она знала, что в станице учительствует дама, Анна Григорьевна, на зиму приезжает из Оренбурга, а сейчас проводит каникулярное время дома. Надо найти эту даму и договориться, чтобы та уступила Гале свою работу. Галя оплатит ей жалованье за весь год сразу отцовским чеком.

«Брошу Калугу. Зачем мне гимназия, зачем карьера? Здесь спокойней, и воздух чистый, сельский... — по-детски рассуждала Галя. — Но как найти Анну Григорьевну?»

Галя спросила хозяйку, та ответила: «Знаю я, што у нас учительша Анна Григорьевна, а где она живёт, глаза лопни, не слыхала».

Галя пошла к атаману.

Любезно приняв Галю, атаман, которого она назвала не господином атаманом, а по имени и отчеству, Василием Анисимовичем, сказал ей:

— Я не знаю, но мне кажется, барыня или барышня, что наша учительница Анна Григорьевна Голощапова живёт в Форштадте. Точно её адреса я не знаю, и едва ли он где значится. Её адрес можно получить только у тех людей,

с которыми она здесь знакома. Можно узнать у Веренцовых, она к ним ходила.

Краска бросилась Гале в лицо. Ей показалось, что на последних словах атаман улыбнулся, хотя он не имел в виду другого смысла.

Галя поблагодарила, быстро повернулась и вышла.

«Как видно, изрядно вымуштрованный, из недавних военных, и, кажется, не рядовой казак, — подумала Галя. — Что значит любовь — она всё окружающее заставляет любить. Вот даже атаман их мне нравится, а я даже простых казаков боялась». Галя долго думала об этом милостивом, с чёрными глазами атамане.

Она дала телеграмму домой: «Чувствую маленькое нездоровье, задержусь несколько дней после срока. То же скажите гимназии. Целую. Галя». Но вместо нескольких дней шла к концу вторая неделя.

Как масляный блин, зажаренный и затомлённый на жирной, горячей сковороде, чувствовал себя около Гали Мишка...

Добилась-таки Галя адреса Анны Григорьевны. От Мишки она ничего не могла узнать. На её вопрос он ответил:

— А шут её знает, где она живёт. Зимой она всё к нам ходила, журналы да газеты носила, а мы читали. А зачем ты спрашиваешь? Зачем она тебе нужна?

Галя не ответила и снова спросила:

— А молодая она, интересная или нет?

— Она славная, хорошая, мы все её любили, — растягивая слова, ответил Мишка.

Галя тяжело дышала, напряжённо слушала.

— Ей лет... лет... сорок, высокая-высокая, вот здесь и то ей, пожалуй, надо сгибаться, — показал Мишка на небо...

Галя облегчённо вздохнула и поцеловала возлюбленного.

С адресом на руках Галя собралась завтра выехать в Оренбург для договорённости с Голощаповой, а сейчас пошла прогулять по берегу Урала, где часто проезжали Веренцовы с молотью. Они возили хлеб в амбары. Мишка подладился приезжать верхом каждый вечер. Если приезжал днём на подводах с хлебом, а Галя ходила по берегу, он бросал на дорогу записку. Галя брала, в записке были время и место их встречи вечером.

И с Гнедым Галя завела знакомство. Он не возражал, когда Мишка подсаживал Галю верхом, а сам водил коня в поводу. Спокойно и весело было на душе у обоих.

Она надеялась договориться с Голощаповой — сидеть дома, получить сразу за целый год жалованье, кто не согласится? Да ещё Галя ей что-нибудь подбросит, не оставит в обиде.

Галя будет учительствовать здесь, в станице. Наплевать ей на калужскую гимназию. Если она будет здесь, около неё будет и

Мишка, а стало быть, и нескончаемое счастье.

*С милым радость
нестерпима,*

*С милым тёплая земля,
Даже карканье вороны —
Лучше трели соловья...*

Разгуливая по крутому берегу Урала, Галя увидела извозчика, он ехал по городской дороге, пылил своей пролёткой, где сидел какой-то господин в шляпе. Пролётка проехала далеко от Гали и скрылась. Галя не придавала этому значения, мало ли здесь ездят разных дачников и начальников из Оренбурга.

Она ходила, думала о Мишке, а сердце о чём-то пугливо ныло. Она увидела торопящуюся к ней хозяйку. Галя не знала причины, но сердце уколол кто-то... Хозяйка махала рукой, подзывала к себе:

— Барыня, тебя там какой-то барин спрашивает.

Гале казалось, что у неё оторвалось сердце, волнение, смешанное с непонятным испугом, перехватило дух. Она еле шла за хозяйкой. С тоской и болью в сердце взглянула на дом Веренцовых. Как будто вели её на казнь, и она в последний раз смотрела на вольный свет, который сейчас казался стократ милей и прекрасней.

«Ну кто же это? — спрашивала себя Галя. — Муж? Но он убит ещё в четырнадцатом. Кто-нибудь из знакомых? Не может быть, никому я не писала... Папа? Нет, он работает. Уф!»

— А молодой он, хозяйюшка, или старый? — дрожащим голосом спросила она.

— Да молодой вроде. Да я и не посмотрела, как следует, — ответила та.

Оставался один квартал до квартиры. Вот сейчас будут видны хозяйские ворота, около которых — извозчик и неожиданный гость.

Когда прерываются какие-либо сильные стремления или страсти, то ставшая этому причиной встреча с самым близким становится безрадостной. Состояние было такое, что лучше бы не ходить туда, а вернуться и уйти куда-нибудь далеко-далеко, в поле, там есть надежда увидеть Мишу, а здесь?.. Как будто шла она на суд, к тяжкой каре. Ноги заплетались. Наконец вошли в улицу, откуда стал виден извозчик около хозяйского дома; но где же барин?

Вдруг сзади кто-то закричал: «Галечка, Галечка, милая!»

С выступившими на лице бисеринками пота Галя оглянулась — к ней подбегал вышедший из-за угла отец. Она необъяснимо боялась приезда мужа и только тут облегчённо вздохнула и бросилась на шею отцу.

— Галечка, как я рад, что ты здорова. А ведь ты нас с мамочкой совсем перепугала. Мамочка почти не спала, всё просила меня скорее поехать за тобой. А ты как хорошо пополнила, так хорошо выглядишь, — целуя дочь, радовался Борис Васильевич.

Галя смутилась, покраснела, простодушные слова отца показались ей двусмысленными.

— С тех пор как хозяйка пошла за тобой, мне показалось, много прошло времени, и я пошёл навстречу, тем более был рад, что пошла гулять, из чего можно было заключить, что ты здорова, — радовался отец.

Подошли к воротам. Галя попросила отца обождать, пока она осмотрит квартиру, — в полном ли она порядке для встречи отца. Она боялась возможных следов мужского пребывания.

Борис Васильевич охотно согласился, предложил извозчику попросить разрешения хозяев заехать во двор, передохнуть, закутить.

Галя всё больше радовалась приезду отца. Она была уверена, что Мишка отцу понравится.

В квартире отец ещё раз поздоровался с дочерью. За обедом Галя угостила отца ликёром, на что он шутливо обратил внимание: «Кому приготовила? Уж не сама ли стала пить?» Галя отшучивалась, краснея.

После рюмки ликёра голова у Гали пошла кругом, о чём-то тосковало сердце. Она решила разом сбросить тоску, рассказать отцу всё. «Сегодня или завтра, а говорить нужно», — думала она и тут же, как бы шутя, сказала:

— Папочка! Я уж совсем не хочу отсюда уезжать домой.

— Надеюсь, это и была причина болезни, — заметил отец. —

Боже мой, уж не влюбилась ли ты здесь?

— Да, папа, — лаконично, всё с той же шутливой интонацией ответила она.

Борис Васильевич замкнулся, задумался. Галя просила извинения. Разговор не вязался до самого вечера.

Борис Васильевич чувствовал себя как бы обиженным, но не хотел пытаться дочь. Чтобы рассеять неприятное впечатление, заменить его приятным, даже радостным, как рассчитывала Галя, она решила как можно скорее показать отцу Михаила. Она помнила о расположении отца к казакам.

С наступлением сумерек Галя сказала отцу, что должна сходить в одно место. И пошла за станицу, где в последнее время по вечерам ожидала Веренцова, а он подъезжал верхом, спрыгивал с коня, и уходили они далеко в степь.

Сегодня Галя хотела, чтобы Мишка пошёл с ней к отцу. Она радовалась предстоящему исходу смотрин.

3

Было ещё совсем светло, когда Мишка гнал с поля коней по случаю субботнего дня. Мишка заметил, как в ворота Галиной квартиры вошёл какой-то барин. Как горячим баннным паромхватило Мишку с ног до головы: «Или муж, или хахаль из здешних господишек. Сейчас бежать

туда нельзя, приходится ждать сумерек».

Бессильно злясь, он нажал на коней, как будто они виноваты, что к Гале пошёл хахаль и поймать его там нельзя. Кони столпились у ворот, лезли, давили друг друга и, проскочив во двор, пробежали далеко в сарай и робко смотрели оттуда.

Ужинать Мишка не хотел, ждал сумерек, чтобы пойти и прихватить у Гали соперника, пока тот не ушёл.

Смеркалось. Мишка зашёл с заднего двора. Во дворе вглядывался в каждый угол — не стоит ли там с кем Галя? Подошёл к крыльцу — дверь в сени открыта. Сбросил башмаки около крыльца, прошёл в чулках по сеням до комнатной двери, она открыта. Около раскрытого окна, спиной к нему, сидел мужчина, света в комнате не было. Мишка попятился в сени, вышел на крыльцо.

«Значит, она рядом с ним сидит, только против окна видно его, а она — против простенка. Муж или хахаль?» — подумал весь вспотевший Мишка. В висках стучало, от злобы и ненависти он дрожал, как в лихорадке. Снова зашёл в комнату. Ему казалось, что он отчётливо видит Галю: она сидела рядом с мужчиной против простенка и держала его руку на своих коленях.

Только сейчас Мишка сердцем почувствовал жгучую ревность, которую раньше не замечал за собой. Только сейчас он горячо почувствовал безмерную любовь

к Галя. Нет, он не мог отдать её в руки другого, в руки соперника. От бешеной ревности в горячей Мишкиной голове появилось: убить его!

За окном закричала Галя: «Папочка! Вы, наверное, ругаете меня?»

Как будто проснулся Мишка ото сна или очнулся от припадка. Фигура Гали, сидевшей у простенка, вмиг исчезла. Мишка ясно представил обман мыслей и мишуру иллюзий. Попытившись назад, он вышел в сени без звука.

Появившаяся с улицы в воротах Галя, увидела его, тихонько подбежала, обняла, поцеловала.

Мишка молчал, говорить он не мог.

— Что с тобой? Мильй... Ты весь дрожишь... — спросила, всматриваясь в него, она.

— Это кто там сидит? Не халхаль ли? — еле выдавил казак.

— Да это же папочка! В гости ко мне приехал, — неудержимо целовала она Мишку. — Ну успокойся, мой родной, — радовалась Галя, что у возлюбленного колыхнулась ревность. — Да ты почему же в чулках? Ну успокойся, мой желанный, я понимаю тебя, — упрашивала Галя, не замечая брошенных у крыльца башмаков.

Мишка молчал, тяжело дышал. Состояние было такое, когда человека прерывают, не давая закончить необходимое дело.

— Ну успокойся, — повторяла Галя, — вот тебе задание: сходи домой, обуйся и приоденься, немного успокойся и сейчас же,

сейчас же приходи, а я этим временем приготовлю кое-что. Иди! Только скорее вернись, не заставляй меня плакать, ожидая тебя, — провожала до ворот Мишку Галя.

Мишка в каком-то полузабытьи почти не слышал её слов, не понимал их.

Проводив Мишку, Галя убежала в дом. За воротами Мишка увидел себя в одних чулках, вернулся к крыльцу, надел башмаки, побрёл, как пьяный, домой. Болела голова. О чём он думал в этот момент, он не знал, не мог припомнить и после.

Дома машинально надел сапоги, брюки, фуражку и наборный ремень. Он всё же сознавал, что идёт на смотрины. У зеркала расчесал всклокоченные волосы, поправил набок фуражку.

4

Вернувшаяся Галя быстро зажгла в комнате свет, поцеловала отца, собрала на стол.

Борис Васильевич понял, что должен прийти кто-то из Галиных подруг. Те слова, сказанные при встрече, не выходили из головы. Он терялся в догадках. Галя, калужская красавица, приехала в деревню и вдруг втюрилась, как «оглобля в кузов». «Не может быть, — думал отец, — вот сейчас придёт кто-нибудь, и я постараюсь расспросить».

Галя налила отцу чайный стакан ликёра. Борис Васильевич отказывался, но дочь упростила. Вслед за первым налила второй,

а если, мол, скучно одному пить, то я позову хозяина или их взрослого сына, который только что приехал с поля.

Борис Васильевич согласился. Галя выскочила за дверь, чтобы подтвердить слова о хозяйском сыне. Минуты тянулись, Мишка задерживался.

Борис Васильевич спрашивал: скоро ли?

Наконец Галя услышала, как ворота тихо открылись. Она вышла во двор.

— Миша, ты не стесняйся папочки, он очень хороший. Мы пока не будем говорить ему о нас. Я тебя пока рекомендовала хозяйским сыном.

Мишка в волнении не понял сказанного Галей: «Какой хозяйский сын? Что она говорит? Пока не будем говорить о нас... Ему и никогда-то не нужно говорить».

— Я сейчас войду, а ты — через минуту, — добавила, целуя Мишку Галя. — Только не забудь, милый, мы не должны до времени выдавать себя.

Мишка махнул рукой вслед вошедшей в дверь Гале. Минуту обождал.

Борис Васильевич услышал шаги в сенях, взглянул на приоткрытую дверь. Смелым рывком, без предупреждения кто-то широко открыл её.

Разница между вошедшим и теми, кого Борис Васильевич когда-то встречал в Вышнем Волочке, была лишь в отсутствии у этого голубых лампасов на брюках да в его молодости.

Бросалась в глаза фуражка с ладным лакированным козырьком, плотно прилёгшим ко лбу. Фуражка с голубым околышем придавала Мишкиному лицу особую прелесть. Левый висок прятался под чубом, покосившим фуражку на правый бок.

Мишка сказал одно слово: «Здравствуйте» и, смотря исподлобья, встал у порога чуть ли не боком к Борису Васильевичу.

Галя замерла, счастливая, улыбающаяся.

Борис Васильевич пошёл навстречу. Мишка пожал его протянутую руку и снял фуражку.

Борис Васильевич, не выпуская гостя, повёл его к столу, приобняв за плечо.

Неравнодушие Гали было очевидно, она бегала вокруг отца и Мишки. Хотелось сесть рядом с женихом, как она его сейчас воображала, обнять его, поцеловать... Села подальше от обоих. Сейчас же Мишке налила ликёра. Мишка выпил, не ожидая Галю, и подмигнул ей. Он скользил взглядом по отцу своей любимой. Борис Васильевич был дородный, элегантно одетый красавец. Мишке он очень понравился.

Утощая его, Борис Васильевич спросил:

— Вы только сейчас приехали с поля?

— Нет, я с поля давно, — сказал, закусывая, Мишка и подумал: «Хватился, — только приехал, — я все дела уж переделал и тебя чуть к праотцам не отправил, ладно ещё, Галя...»

— А мы вас ждали-ждали. Галечка сказала, что вот-вот приедете, а вас всё нет и нет. Отец ваш тоже дома? — спросил Борис Васильевич.

— Нет, отец приедет утром, остался ток караулить.

Галя подавала ему какие-то знаки, но Мишка думал: «Э-э-э, не моргай, это она просит, чтобы я пил больше. Вот ещё тоже баба, всегда ей хочется, чтобы я больше пил, как будто я не знаю, сколько нужно пить».

Борис Васильевич спрашивал Мишку о военной службе, скоро ли он будет мобилизован, о хозяйстве.

Мишка рассказывал об отце и братьях, о казачестве и его традициях. Здесь же проговорился о том, что в течение предстоящей зимы должен закончить подготовку на курс вольноопределяющегося по общеобразовательному цензу, с этим старший брат его припирает к стенке.

После этих слов Галя хотела подойти к нему, расцеловать и тут же объясниться отцу, не скрывая даже своих матримониальных перспектив, уж очень весело и отрадно было на душе от выпитого, но Галя побоялась Мишки. «А вдруг он встанет, — подумала она, — скажет: «Да с чего ты это взяла? Так твою перетак...» Ведь от этого медведя всего можно ожидать. Как только он уйдёт, всё расскажу папе».

— Да, при вашей комплекции, наружности и воспитании я вижу

вас через некоторое время не урядным кавалеристом, прекрасно владеющим только пашкой и пикой. Желательно увидеть вас настоящим, служившим службу казаком. Когда будете возвращаться с фронта, куда вы, пожалуй, через годок попадёте, то я и Галя просим заехать к нам в Калугу, — рассмеявшись на последних словах, сказал Борис Васильевич.

— Постараюсь, если дыр мало в голове будет, — весело сказал Мишка, — но при условии, если Галина Борисовна до того времени не выйдет замуж.

Борис Васильевич подозрительно посмотрел на дочь и рассмеялся.

— Нет, нет, — сказал он, — не выйдет.

Огнём жёг этот разговор захмелевшую Галя. А последние слова окончательно выбили её из колеи, она подошла к отцу, поцеловала его и заплакала.

Мишка покраснел, как будто попался с поличным. Борису Васильевичу всё стало понятно, но он старался не подавать виду и не стал спрашивать её о причине слёз, боялся, что дочь скажет такое, что ему станет стыдно перед этим молодым человеком. Он сказал ласково и тихо:

— Дочка, иди ляг, отдохни, а мы ещё немного посидим.

Галя уходить не хотела.

«Надо скорее сматываться, — подумал Мишка, — а то ещё ляпнет что-нибудь, тогда — не знай, передом выходить, не знай задом.

Вот ведь какая, немного выпьет — и повело».

Мишка стал вставать, Галя не пускала. Мишка стал прощаться с отцом Гали, она не позволяла прощаться. Наконец Борис Васильевич попросил отпустить Михаила Степановича, так как хочет поговорить с ней. Он простился с Мишкой, крепко и долго жал ему руку.

Борису Васильевичу не хотелось расставаться с Мишкой, этот казак захватил, приковал к себе, но нужно было разрядить атмосферу, помешать неуместным откровениям дочери. Он хотел объясниться с ней по горячим следам. Мишку он просил прийти на следующий день, напомнив, что завтра праздник.

Галя хотела проводить Мишку, но простилась у сенной двери и быстро вернулась.

Мишка вышел к воротам, постоял и пошёл искать Паньку, думая: «Вот ведь какая, шут её взяла, меня просила не говорить, а сама расписала почти всё».

В квартале он встретил Надёжку с подругой и ушёл с ними на вечерку.

Вернувшись из сеней, Галя попыталась лечь, но отец позвал её. Галя села к столу.

— Дочка, объясни, не скрывай ничего, — сказал он, ласково, несколько сбоку взглянув ей в глаза и погладив руку.

Разгорячённая Галя без смущения стала рассказывать всё, что знала о родственниках и

самом Мишке. С особым нажимом остановилась на старшем брате, уверяла отца, что если бы он увидел старшего сына Веренцовых, то невольно пошёл бы за ним, ища дружбы, а Михаил, по её мнению, превзойдёт брата, за это она ручалась. В конце концов Галя сказала, что если бы даже и раньше пытались её доказать несостоятельность партии с Веренцовым, всё равно это было бы уже поздно.

Теперь одна её цель и просьба к отцу, чтобы он помог ей увезти Веренцова с собой в Калугу или позволил бы остаться здесь, другого выхода уже нет. Кроме того, Галя подчеркнула, что не сомневается в том, что отец никак бы не возражал против её решения, если бы знал более подробно Михаила и его семью.

Отец молчал. Галя думала: «Ах, какое это скучное занятие — объяснение ясного! Ну зачем я не пошла проводить Мишу? Он теперь дома так скучает. Я готова ходить с ним всю ночь. Если бы он позволил бывать на их вечерках или посиделках».

Борис Васильевич внимательно выслушал дочь. Веренцов ему нравился. Но как изменить слову, давно уже данному двум-трём калужским женихам, которые просят подействовать на дочь. К тому же все как на подбор: и знатные, и богатые, и молодые. «У этого когда-то будет положение, а у тех уже есть. Правда, дети... любо будет посмотреть,

но ведь они люди-то какие — не удержишь его в Калуге: сбежит и дочь увезёт, а мы опять останемся одни. Он в своём-то Оренбурге и то не будет жить, так и будет тянуть в свою станцию. Ему хоть генерала пожалуй, всё равно предпочтёт плуг в руках да скакать по полям, чем гулять с дамой по городу. Город-то для них, чтобы лишь попьанствовать, нахулиганить и попасть в полицейский участок или ускакать домой без шапки и без колёс. Ах, Боже мой, как бы отговорить её хотя на время».

— Так вот, дочка, — начал он, — я полностью разделяю твоё решение, не возражаю против твоего выбора, но вот дело в чём, ты подумай: время сейчас военное, Михаил Степанович может быть взят на фронт во всякую минуту. И если будешь здесь, то рискуешь оказаться в такой скуке, что с ума сойдёшь, а к нам выехать и родители Веренцова не позволят, и ты не захочешь их обидеть. Я могу согласиться на твою жизнь здесь лишь в том случае, если ты сейчас же, при мне, войдёшь в дом Веренцовых. И второй вариант: если даже и согласится он сейчас поехать к нам в Калугу, то он раньше, чем доедет до Самары, уже начнёт оглядываться назад, а туда, в Калугу, приедет и заскучает с первого же дня. Обожди-обожди, дай договорить, — остановил он рукой Галю, начавшую было возражать. — Ты его, дочка, ничем не забавишь. Ты

думаешь его какой-нибудь оперой заинтересовать? У-у-у... Ему конь нужен для поля. Они согласны обливаться потом и дышать знойной пылью на сенокосе, пашне, молотбе, чем сидеть, ничего не делая, в городе. Если почему-либо приходится задержаться в городе больше чем на сутки, то они там начинают пьянствовать, хулиганить или скучать до слёз. Такие они люди, дочка. Они совсем другого устройства. Ну а самое главное — то, что у нас его захватит мобилизация, тогда поминай как звали. Ведь он в кавалерийскую-то часть ни за что не пойдёт, если она не казачья, а уж если в пехоту, то он тут же застрелится, но не пойдёт... или нас всех перестреляет... Да ты не смейся, Галя, честное слово, были уже такие случаи. Я их ведь хорошо знаю. Они насколько забавные, настолько и опасные. Один выход, самый верный: договориться, что он приедет к нам прямо с военной службы, если будет скоро взят, а если война скоро кончится, а он взят не будет, кроме как на действительную службу, как у них говорят, а их берут в двадцать один год, то я весной сам поеду за ним и привезу, если на это будет его согласие. После нашего отъезда он скорее даст согласие поехать к нам, так как заскучает, если верить твоим доводам. Как ты на это смотришь? — говори теперь.

Галя думала. Слёзы ей застилали глаза, а в воображении

сменялись картины, нарисованные отцом. Мысли путались. Самым страшным было представить горькую скуку в стенах своего дома в Калуге, когда Миша где-то далеко, гуляет с девушками, отвыкает от неё, и она по своей же вине, по своей нерешительности теряет его навсегда.

«Самое надёжное — это увезти его с собой, но как это сделать? Ведь нет ещё его согласия, ещё нет ничего определённого, как говорить с отцом?» — маялась она.

— Папа, — сказала она, — я знаю, вы только помочь мне хотите, сделайте так, чтобы я с ним не расставалась, я просто не могу, иначе не могу. — Галя поцеловала отца в лоб, прежде чем уйти к себе.

Полагаясь во всём на отца, Галя и не заметила, что внутренне сдалась. Первую позицию оставляешь шагом, с последующих бежишь бегом. Если бы Галя могла слышать, каким погребальным звоном для её планов прозвучали её последние слова. Отец знал теперь, что увезёт дочь домой, без сомнения.

5

Гале не спалось. От всего недавнего было невыносимо тяжело, она не могла собраться, чтобы обдумать всё по порядку. Теперь она думала о том, что Мишенька один, скучает дома и вряд ли заснёт до утра.

Она едва уснула к свету и как будто тут же проснулась. Было

уже утро. Звонили к обедне. Хозяйка объявила, что завтрак будет готов через полчаса. Галя решила пока сходить на берег Урала, может быть, увидит Мишу, может, сумеет бросить ему записку, в которой писала: «Ещё лучше, если днём, а вечером-то обязательно приходи, как можно раньше. Беспokoюсь о твоём здоровье после выпитого вечером, и не покидают меня мысли о том, что ты скучал всю ночь. Целую. Г.»

Мишка и Панька высоко сидели на куче брёвен у веренцовского двора, наперегонки позёвывали и тёрли глаза. Они вместе не спали до утра.

Панька первый увидел Галю, когда она во второй раз проходила по яру, вскользь поглядывая в их сторону.

— Чья это госточка ходит? Столько время не уезжает, почти все господа уехали, а её чёрт клеццами прижал... У ково она квартирует, ты не знаешь, Мишка? — спросил Панька. — Это никак та самая, которая тогда у двора сидела, помнишь?

Мишка на мгновение взглянул и с напускным равнодушием ответил, искусственно позёывая:

— А откуда я знаю, у кого квартирует, а у двора-то сидела, говоришь, то где помнить, все они сидят у двора.

Галя была замечена Панькой, Мишка уже не мог подойти к яру, оставив друга. Галя поняла это и, пройдя два раза, ушла

домой. Записка осталась непередаваемой.

На крыльце она застала отца, ожидающего её к завтраку. Смотря на жизнь трезво и просто, он решил уговорить Галю уехать через два-три дня. Весь сегодняшний был болезненно натянут. Отец искал более убедительные аргументы для скорейшего отъезда, а Галя весь день ждала и ждала Мишку, но он не шёл.

Борис Васильевич знал, что если Михаилу предложить поехать с ними вместе, он откажется сразу же, поэтому можно заводить этот разговор без боязни. При отказе поездку Веренцова в Калугу отложить на более дальний срок, а там Галя забудет, окружённая подругами и весельем. На этом и кончится всё.

Пришёл Мишка. Встретив его радушно, Борис Васильевич мало-помалу заговорил о своём и Галином отъезде, прозрачно намекнул, что хотел бы видеть Михаила Степановича у себя в Калуге, сейчас же, на положении зятя.

Мишка хотя и учтиво, но наотрез отказался: у него уже всё готово для военной службы, конь откормлен и обучен, даже на бегу ложиться умеет, седло со всем с прибором с иголки, пашка новая, блестит, как зеркало, они уже со своим другом Павлом выезжают чуть не каждое воскресенье в поле рубить татарник, изображающий лозу, там же они учатся джигитовке.

Не успев закончить, Мишка увидел Галю бледной, как воск. Он взял Бориса Васильевича за руку и стал упрашивать не увозить Галю домой:

— Через неделю, по моим расчётам, я получу ответ от старшего брата, в котором он должен просить отца и мать взять Галю снохой в дом. Я об этом просил брата, он для меня это сделает. Родители во всём его слушают, даже как-то его побаиваются. Я ему всё описал о себе и о Гале, ответ от него будет обязательно хороший.

Галя повеселела, но Борис Васильевич знал, как вести дело. Он стал упрашивать Михаила не возражать против отъезда Гали, даже дал слово, что когда согласие родителей будет получено, то Михаил приедет в Калугу, где Мазорцевы ликвидируют своё предприятие, продадут два своих дома и переедут всей семьёй в Оренбург. План его понравился юной паре. Ни Мишка, ни Галя не смотрели далеко.

Борис Васильевич торжествовал.

Отъезжать решено было через два дня. В Оренбурге нужно было сфотографироваться по одному и вместе.

Недосыпала, пылила, жарилась на солнце страда. Степан Андреевич, не зная Мишкиной нужды быть в Оренбурге, послал его на дальнее поле обмолачивать хлеб нанятому человеку.

Мишка еле успел прискакать на коне в станицу в день отъезда Мазорцевых.

От слёз Галя не могла говорить, она выплакала всё и поэтому уже рыдала, судорожно вздрагивала всем телом до самого момента отъезда.

На прощанье она могла лишь сказать, глядя в покрасневшие глаза Мишки:

— Буду ждать тебя... до смерти. Или искать...

— Галя... — вдруг прозревая, тихо сказал Мишка, — если и женят меня, ты одна у меня жена. Никого у меня больше не будет.

Оба говорили правду. Мишка надеялся на письмо брата,

которое, по его мнению, должно было решить его судьбу. Но не знал Мишка пути своего письма, которое передал «надёжному» человеку, другу, чтобы тот опустил его в почтовый ящик в Оренбурге. Друг письма не опустил, а прочитал и спрятал, чтобы в нужный момент показать Надёжке, на которую заглядывался и мечтал на ней жениться. Не знал и друг Васька, что роет могилу своим мечтам, что письмо, дошедшее до адресата, могло бы устранить самого опасного противника на Васькином пути к Надёжке. Мишка бы освободил путь, уходя к Гале.

(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Набат — тревога; бой в доску, звон в колокола для сбора народа по случаю пожара или иной общей опасности.

2. Былка — травинка, былинка, стебелёк.

3. Чеблык — длинная палка, шест.

4. Город Багдад до 1917 года — в составе Османской империи.

5. Киргизы — до 1917 года. От киргиз-кайсаков Младшего жуза или Малой орды на территории нынешнего Казахстана.

6. Илецкая Защита — ныне город Соль-Илецк.

7. Оселедец — чуб, коса или косма на темени головы.

8. Сажень — 2,13 метра.

9. Бекеша — сюртучок на меху.

10. Тычки — заострённые металлические пштыри.

11. Юшка — мясной или рыбный навар, в переносном значении — кровь.

12. Склень, всклень — говорят о жидкости в посуде: полно, вровень с краями.

13. Жнейка — машина на конной тяге для уборки зерновых.

14. Вольноопределяющийся — в русской армии XIX — начала XX века добровольно поступивший на военную службу после получения высшего или среднего образования и несущий службу на льготных условиях.

15. Альбо — разделительный союз — или, или же.